



ЕВГЕНИЙ КАРНОВИЧ

Очерки и рассказы
из старинного быта
Польши

Евгений Петрович Карнович

Очерки и рассказы из старинного быта Польши

Одна из лучших книг Евгения Карновича, на страницах которой наряду с шальными польскими магнатами, очаровательными грешницами, последним польским королем Станиславом Понятовским, героическим Тадеушом Костюшко и незабываемым «паном-коханком» Карлом Радзивиллом читатель встретит множество ярких персонажей из жизни старой Польши XVI-XVII века.

Содержание

Польское посольство во Францию	0005
Нитка жемчуга	0033
Вызов родственников	0053
Князь Иосиф Яблоновский	0070
Охота на вепря	0079
Покинутый замок	0115
Князь Иероним Радзивилл, великий хорунжий Литовский	0147
Панна Эльжбета	0161
Шляхтич Кульчиковский	0171
Патриотка	0179
Юзя	0184
Четыре мешка	0208
Анна Ожельская	0230
Ranie Kochanku	0256
Станислав Август, король польский	0285
Свадьба Каси	0316
Албанская банда	0330
Пан Лада и Фридрих Великий	0354
Неправедное наследство	0400
Ян Декерт	0407
Хозяин и гость	0425
Северские послы	0442
Ян Собеский под Веною	0457

Евгений Петрович Карнович
Очерки и рассказы из
старинного быта Польши

Польское посольство во Францию

Настоящий рассказ наш относится к 1645 году. В это время сидел на польском престоле король Владислав IV, которому представлялась некогда возможность царствовать на Москве. Королю Владиславу было в эту пору около пятидесяти лет. Давно была ему пора жениться, – и он, наконец, после разных соображений, решился предложить свою руку принцессе Марии-Людовике Мантуанской, жившей при дворе регентши Франции, Анны Австрийской, матери малолетнего короля Людовика XIV.

Сватовство польского короля к принцессе началось при посредстве ловкого и расторопного ксёндза Ронкони, бывшего польским резидентом в Париже. Когда дело о браке было улажено частным образом, то Владиславу нужно было попросить формально руки принцессы. Король исполнил это через особенного посла; а французский двор дал на предложение Владислава своё согласие. Те-

перь оставалось только королю отправить в Париж чрезвычайного посла, который, как представитель королевской особы, должен был обвенчаться в Париже с Марией-Людовикой и привезти её в Варшаву.

В эту пору, денежные дела короля Владислава, вследствие войн с Москвою, Швецией и Турцией, были очень плохи. Даже самый брак короля с принцессой Мантуанской был не без финансовых расчётов с его стороны. Король знал, что, женившись на богатой принцессе, он мог легко занять, на счёт её приданного, до 600.000 злотых, а этим займом он надеялся кое-как поправить свои расстроенные обстоятельства. Нужно было только Владиславу выбрать такого знатного и богатого польского магната, который бы мог быть достойным представителем польского короля при пышном парижском дворе.

Такой выбор магната, для доставки им королевской невесты из Парижа в Варшаву, сильно затруднял Владислава IV, – не потому, однако, чтобы в тогдашней Польше не нашлось таких людей, которые, по своему уму и по своему образованию, не могли бы с честью

явиться в Париже. Это обстоятельство не могло затруднять Владислава, так как ещё за столет до той поры, сама королева Елизавета отдавала в Лондоне справедливость учёности и разуму польских послов. В настоящем случае встречалось затруднение совсем другого рода.

В ту пору значение магнатов в Польше было слишком сильно; при малейшем неудовольствии, при размолвке с королём из-за какой-нибудь безделицы, они прекращали с ним сношения и тогда трудновато было королю сойтись с своим недругом. Между тем Владислав IV был в постоянном раздоре с большей частью магнатов. Те же из них, которые были близки к нему и которые, по своему имени и образованию, могли бы явиться достойными его представителями в Париже, не были так богаты, чтоб могли показаться в столице Франции с подобающим блеском и с ослепительным великолепием, как этого требовала важная цель посольства. Король же, как мы сказали, находился сам в затруднительном положении по денежной части до такой степени, что иногда и на дворцовой кухне оказывался недостаток в съестных при-

пасах. Вследствие этого Владислав не мог дать от себя своему представителю огромных денежных средств, которые однако были необходимы в настоящем случае.

Не оставалось Владиславу ничего более, как сблизиться с кем-нибудь из магнатов; и выбор короля, после долгих колебаний, пал наконец на воеводу познанского, Криштофа Опалинского, считавшегося в то время одним из первых богачей во всей Польше. Остановившись в своём выборе на пане Криштофе, король не был однако вполне уверен в успехе. Богатый воевода, хотя и жил чрезвычайно роскошно, но к прискорбию короля был крепок на деньгú в некоторых случаях, а между тем предлагаемая Опалинскому честь – привезти в Польшу королеву – могла расстроить всё его состояние, как бы громадно оно ни было.

Король решился однако попытать счастья и вступить в переговоры с Опалинским.

В это время была не занята важная должность коронного маршала; Владислав предложил эту должность Опалинскому с тем, чтобы он съездил на свой счёт в Париж и привёз

ему оттуда невесту; и кроме того в общих словах пообещал ему весьма почётное звание маршала при будущей королеве. Делая такое лестное предложение пану Криштофу, король не мог впрочем надеяться, что дело между ним и неподатливым Опалинским покончится без новых затруднений. В ту пору случилось очень часто, что магнаты, получая королевское предложение – занять какую-нибудь высокую должность, принимали её не иначе, как постановив с своей стороны какие-либо особые условия. У Владислава был ещё в свежей памяти тот обидный для него случай, когда он незадолго перед этим предложил воеводе познанскому, Станиславу Любомирскому, звание краковского каштеляна и как тот соглашался принять эту первую светскую должность во всём королевстве, с тем только уговором, чтобы младшему его сыну было пожаловано богатое старóство краковское. Король не мог этого сделать, так как подобная отдача была бы противна определениям сейма, но Любомирский настаивал на своём и дело кончилось тем, что слишком требовательный воевода отказался от высокого сана,

предложенного ему королём.

Владислав опасался, что и пан Криштоф, вдобавок к сделанным ему предложениям со стороны короля, присоединит ещё свои собственные условия.

У Опалинского была однако слабость ко двору. Владислав воспользовался этим; он исподволь повёл с ним дело через людей посторонних, обещая пану Криштофу, кроме двух маршалств, ещё богатые старóства. Воевода не устоял, и поддавшись этим искушениям решился поехать в Париж за королевской невестой.

Опалинский стал готовиться к отъезду.

Надобно заметить, что пан Криштоф отправлялся в край уже хорошо знакомый полякам. Ещё Мария-Людовика не сидела на польском престоле, а уж поляки превосходно знали Францию, её язык, её нравы и обычаи. Большею частью польские вельможи того времени проводили свою молодость в Париже и нередко даже служили при французском дворе. Так, тогдашний великий гетман Потоцкий был в юности пажом Генриха IV, а великий канцлер литовский Альберт Радзивилл

пользовался в своей юности особенной благо-склонностью короля Людовика XIII. Бывший же в то время краковским воеводой Якуб Собеский всю свою молодость провёл в Париже и туда же отправил своих молодых сыновей.

Впрочем не одни только светские сановники, но даже и высшие духовные лица были хорошо знакомы с Францией, а в числе их был и архиепископ гнезненский Станислав Лещинский, примас королевства.

Вообще же в Париже было в то время много поляков, которые не только что ловко служили при королевском дворе в пышных залах, но и храбро сражались под французскими знамёнами, желая своими военными подвигами или составить себе громкое имя, или поддержать боевую знаменитость своих предков.

Опалинский был назначен главным послом, так как он был представителем короля. Другими же послами, отправившимися вместе с ним, были его близкие родственники: воевода поморский Денгоф и епископ варминский Вацлав Лещинский. Из них первый должен был подписать в Париже брачный

контракт между Владиславом и Марией-Людовикой, уже подписанный в Варшаве самим Владиславом и французским посланником при польском дворе.

В начале сентября 1645 года, Денгоф отправился морем во Францию из Данцига, а в конце сентября того же года выехали из Варшавы в Париж воевода познанский и епископ варминский. Тщеславность и огромные богатства Опалинского ручались за то, что он, взявшись быть в Париже представителем короля, исполнит это с той пышностью, которая поразит французов. Нельзя было сомневаться, что пан Криштоф, живший у себя в Серакове с большим великолепием, ещё великолепнее покажет себя на чужой стороне.

Действительно, Опалинский отправился во Францию не только забрав всех шляхтичей, служивших у него в Серакове, а также и своих ближайших родственников, но и увеличив свою свиту множеством наёмных слуг. Кроме того воевода взял с собою три хоругви, т. е. три отряда – два пеших и один конный. С воеводой поехали в Париж: маршалок его двора, два конюших, медик, родом немец, сек-

ретарь, барон Вольцоген, духовник и учёный монах бернардинского ордена. Кроме того, за каждым из родственников воеводы познанского ехала собственная их, тоже огромная, прислуга. Посольство сопровождалось множеством коней, повозок и колымаг. Из всего этого составила́сь такая громадная ватага, что посольство, при выезде из Варшавы, должно было разделиться на две части и отправиться в Париж разными дорогами для того, чтоб избежать тесноты в тех местах, где нужно было послам останавливаться для отдыха.

В числе коней, следовавших за послами, было много превосходных турецких лошадей, копыта которых в день въезда послов в Париж должны были быть украшены серебряными и золотыми подковами. Множество великолепных колымаг, обитых золотом, бархатом и шёлковыми материями, и взятых послами в Париж, отличалось таким богатством отделки, что даже самые роскошные экипажи тогдашнего французского двора должны были показаться, в сравнении с посольскими колымагами, не более как только простыми повозками. Трудно было перечислить золотую и

серебряную посуду, которую везли с собой во Францию польский воевода и польский епископ, не говоря уже о множестве драгоценных камней, редких мехов и богатых шёлковых материй, забранных ими из Варшавы.

Для бóльшей пышности и сообразно с обычаями того края, в который ехало польское посольство, члены его украсили себя почётными дворянскими титулами, взятыми ими только на время. Известно, что конституция 1638 года не позволяла польской шляхте, для поддержания среди неё равенства, носить на родине графские или княжеские титулы; однако, при поездке за границу дело было совсем другое. Каждый шляхтич мог величать себя как ему было угодно. При настоящей же поездке воевода Денгоф титуловался князем, епископ Лещинский и два члена посольства – титуловались графами. Наконец даже сам Опалинский, этот ревнитель шляхетского равенства и преследователь пустых титулов, не отказался назваться на этот раз графом Бнинским.

В то время когда воевода Денгоф ехал морем около берегов Дании, Опалинский, с

огромным обозом, медленно тянулся в Францию сухим путём, чрез Германию, удивляя немцев своим поездом. Спустя месяц после выезда Опалинского из Варшавы, обе части посольства съехали в Любеке и отсюда оба польские посла, через Голландию, во второй половине октября, приехали в Париж. С особенным удовольствием узнали они, что дворецё не переехал на зимнее житьё в столицу и что по этому они могут дать несколько дней отдыха и людям и коням для того, чтобы въехать в Париж во всём блеске.

Торжественный въезд польских послов был назначен на 29-е октября.

По рассказам французских мемуаров того времени, случай этот был одним из самых замечательных событий, совершившихся в тогдашнем Париже. Для того, чтоб дать французам посмотреть хорошенько такую небывалую диковинку, послов просили въехать в Париж в воскресенье и при том около полудня. Опалинский охотно принял это предложение, и в назначенный день потянулся по улицам Парижа его длинный поезд. И хозяева и гости старались в этот день превзойти друг друга

щёгольством и пышностью, но в настоящем случае и французы и поляки поразили друг друга резко противоположностью своих вкусов. Поляки до такой степени изумили своим богатством и своей тяжёлой восточною роскошью, что тогдашние французские учёные пустились в серьёзные розыскания о том, не происходят ли приехавшие к ним издали гости от мидян и древних персов, которые оставили в истории память о своих диковинных, почти баснословных богатствах. В свою очередь, поляки, напротив, дивились бедности французов. В глазах поляков, привыкших ко множеству драгоценных камней, к массивным серебряным и золотым изделиям, все принадлежности щёгольских французских нарядов: банты, ленты, шитьё, перья и кружева, которыми так тщеславились французы, казались никуда негодными тряпками. Спутники Опалинского даже дивились между собою тому, как можно было выставять напоказ такие безделушки перед иностранными гостями.

Поляки въехали в Париж через предместье св. Антония. Здесь во дворце Рамбулье ожи-

дал их герцог д'Эльбёф с двенадцатью придворными чиновниками. Здесь же Опалинский поставил в порядок свой поезд, который под предводительством французского церемониймейстера двинулся в самый Париж.

Шествие открывалось пешей хоругвью воеводы познанского. Перед ней, на превосходном коне чистокровной турецкой породы, ехал начальник воеводской хоругви, в жёлтом атласном жупане, в пунцовой шёлковой ферязи, подшитой дорогими соболями. Соболя шапка ротмистра с золотой тульёй была украшена дорогой пряжкой из рубина и белыми страусовыми перьями; ножны его сабли были густо усажены бирюзой. Седло и чапрак были вышиты золотом, а стремяна и вся отделка сбруи были серебряные. За хоругвью шли 30 человек пехоты в жупанах из красного сукна и в таких же плащах, у каждого пехотинца было на плаще по восьми больших серебряных пуговиц; серебряные ножи, секиры и мушкеты на плече составляли вооружение этого отряда.

Было бы слишком долго описывать в подробности всю пестроту и всё великолепие

посольского поезда, который перемежался с отрядами конной французской гвардии. Атласные и бархатные жупаны и ферязи всевозможных цветов – белые, жёлтые, красные, фиолетовые, литые золотые и серебрёные пояса, сабли с отлично вычеканенными рукоятками, и с ножнами, осыпанными бирюзой и множеством драгоценных камней, брильянтовые пряжки на дорогих собольих шапках и золотая сбруя безостановочно в продолжение нескольких часов мелькали в глазах удивлённых французов.

Особенно поразила парижан ближайшая прислуга воеводы познанского. Она состояла из двадцати четырёх человек, ехавших на отличных арабских и турецких конях. Каждый из всадников, одетый в богатый наряд, имел за спиной лук и колчан, наполненный стрелами. В поезде участвовали также шесть герольдов или трубачей, они были одеты в гербовые цвета рода Опалинских и с гербами этой фамилии, вышитыми серебром и золотом. За герольдами два конюха вели под узды белого турецкого коня, на котором ездил иногда сам воевода. Седло и чапрак на этом коне

были отделаны золотом и множеством бирюзы; вся сбруя была из чистого золота; на лбу у коня сверкала большая рубиновая бляха, а широкая сбруя имела столько золотых кистей и золотой бахромы, что весь конь Опалинского, казалось, был покрыт золотой попоной, унизанной драгоценными камнями. Подковы коня были золотые.

Богатство поезда увеличивалось однако всё более и более, по мере того, как приближались послы. Наконец показался и сам Опалинский, как будто весь, с головы до ног, залитый в золото и обсаженный драгоценными камнями. У коня, на котором ехал теперь Опалинский, даже вся сбруя была отделана бриллиантами. Конь этот был приучен к тому, чтобы стать на колени при появлении королевской фамилии.

С жадным любопытством зевала толпа на все рябившие в её глазах богатства: что же касается собственно парижанок, то они засмотрелись не только на посольский поезд, но и на самого посла. Опалинскому было в это время с небольшим тридцать пять лет. Его важная осанка и лихая посадка на коне, прият-

ный взгляд его больших чёрных глаз, выразительные черты и свежесть его лица, а также длинные, густые усы воеводы чрезвычайно понравились француженкам. За послами нескончаемой вереницей тянулись кареты и ехали французские и польские всадники. Поезд замыкался длинным рядом возов с вещами, принадлежавшими послам. Чтобы понять как огромен был весь этот поезд, надобно заметить, что хотя он вступил в Париж в самый полдень, но тянулся однако до самых поздних сумерек, так что когда послы проезжали около королевского дворца, на балконе которого сидел восьмилетний Людовик с своей матерью, то уже почти ничего не было видно.

В Париже для жительства послам был отведён вандомский дворец, владельцы которого были в ту пору изгнанниками. Первая аудиенция была назначена Опалинскому на другой день, т. е. 31 октября. Она происходила с чрезвычайной пышностью и здесь поляки изумили французов богатством своих нарядов.

Миновав длинный ряд великолепно

убранных покоев, они вошли в аудиенц-залу. Здесь король и королева были окружены множеством придворных кавалеров и дам, которые в своих пёстрых и ярких нарядах казались полякам живыми цветами и из которых приглянулись им очень многие. Людовик XIV и его мать, сделав один шаг на встречу послам, благосклонно выслушали краткие речи, произнесённые епископом и воеводою, и приняли от них верительные грамоты, присланные Владиславом IV. После этого, королю и королеве были представлены знатные польские шляхтичи, сопровождавшие послов на аудиенцию.

По окончании аудиенции, послы отправились в неверский дворец, к королевской невесте. Окружённая множеством принцев и принцесс Бурбонского дома, Мария-Людовика чрезвычайно вежливо встретила послов у самых дверей залы. Опалинский подал ей письмо короля Владислава, а епископ варминский поднёс ей, от имени жениха, бриллиантовый крестик, на котором было между прочим шесть камней невероятной стоимости. Приняв этот подарок, принцесса поручила стояв-

шему подле неё епископу оранскому поблагодарить послов и с большим вниманием выслушала их дальнейшие приветствия.

Мария-Людовика была в это время уже не первой молодости, ей было с лишком 33 года, но издавна распространившаяся в Польше молва о её редкой красоте оправдывалась ещё и доселе. Принцесса отличалась также кротостью характера, набожностью и благоразумием.

Откланявшись принцессе, послы удалились в вандомский дворец, а в воскресенье, 5-го ноября, была назначена свадьба. При этом случае нужно было представителю Владислава IV показать окончательно весь блеск своего огромного богатства. Опалинский с большим удовольствием готовился исполнить это, но к крайнему его огорчению брачный обряд должен был совершиться не с той пышностью, которую он ожидал встретить при этом торжестве. Свадьба будущей королевы польской была назначена не в соборной церкви и не в присутствии всего французского двора, как предполагал посол, но в небольшой дворцовой капелле, и при том только в

присутствии самых близких родственников королевской фамилии. Пан Криштоф, раздосадованный и обиженный этим распоряжением, требовал, чтобы брак будущей королевы польской был совершен в Париже с подобающим великолепием. Королева Анна уклонялась от этого настойчиво, приводя между прочим, как причину неизбежного отказа, то обстоятельство, что в случае торжественного бракосочетания Марии-Людовики в присутствии всего двора, между принцами и принцессами королевского дома непременно возникнет спор за первенство и что это дело не так легко будет уладить, как кажется со стороны. Королева-правительница находила по этому нужным – не допускать на свадьбе Марии-Людовики присутствия всех принцев и принцесс королевской крови, а при этом условии уже никак нельзя было совершить брачный обряд в соборной церкви и при том с тою пышностью, которой так неотступно домогался подставной жених.

Говорят, впрочем, что правительница, отказывая королеве польской в торжественном бракосочетании, думала не о спорах принцев

и принцесс за первенство, но совсем другое. Она хотела лишить супругу Владислава IV особенного почёта по иным причинам. Королева Анна была принцесса австрийского дома и ей было чрезвычайно неприятно, что король польский роднился теперь, посредством своего брака, с принцессой Мантуанской, не с её домом, а с домом Бурбонов, неприязненным в ту пору Австрии.

Мелочная, женская придиричивость королевы Анны к будущей супруге Владислава дошла даже до того, что она не позволила невесте надеть во время свадьбы королевскую мантию, между тем как самое платье принцессы было сшито так, что без мантии оно должно было казаться чрезвычайно некрасивым по своему покрою. Невеста видела необходимость покориться воле правительницы. Вследствие всего этого, на свадьбу будущей королевы польской собралось в дворцовую капеллу, вместе с польским посольством, не более двухсот человек. Вся пышность, весь блеск, которыми Опалинский хотел при этом случае поразить французов, были почти напрасны: для малого числа свадебных гостей, и

при том составленного большей частью из своих же земляков, казалось пану Криштофу неуместным выказывать всё своё богатство и нести столько издержек, сколько понёс их обманувшийся воевода.

Епископ варминский служил обедню, после которой совершилось бракосочетание. Воевода познанский, в кунтуше из серебряной парчи, отороченном дорогими соболями, заступал место короля около невесты, одетой в бело-серебристое глазетовое платье. После брачного обряда, епископ надел на Марию-Людовику королевскую корону, а правительница повела молодую за руку в залу, где был приготовлен обеденный стол. Во время обеда, Опалинский, как представитель короля, сидел рядом с Марией-Людовикой.

Брак принцессы Мантуанской сопровождался в Париже балами. Вот как между прочим говорит о них записка одной очевидицы:

«Сегодня было при дворе большое угощение, на котором было всё, что только можно достать из разных краёв в настоящую пору года. Королева польская послала воеводе Опалинскому серебряный поднос, наложенный

обсахаренными померанцами, лимонами и конфетами. Она сумела это сделать с особенною прелестью; я сидела поблизости польского посла, – продолжает г-жа Мотвиль, – и могла заметить с какой важностью и с каким равнодушием смотрел он и на всё наше общество и на всё наше великолепие.»

По окончании пиров Мария-Людовика отправилась в Польшу. Бывшая тогда война в Голландии, распространившаяся и по побережью Балтийского моря, заставила польскую королеву делать большие объезды с прямой дороги. В продолжение четырёх с половиною месяцев пробиралась она в Варшаву среди метелей и снегов, необыкновенно изобильных в ту зиму. Только 9 марта королева въехала в свою столицу. Увеличение и без того уже огромного польского посольства значительною свитою королевы чрезвычайно затрудняло всех ехавших. С королевой было отправлено из Парижа чрезвычайное посольство, главой которого была жена маршала де Габриака. Во всех городах и во всех местечках, через которые проезжала королева польская, её встречали приветственными речами,

музыкой, пальбой из пушек, а иногда подносили ей даже и ключи от городских или крепостных ворот. Все эти встречи и празднества ещё более замедляли и расстраивали обратное путешествие поляков из Франции на родину. Нередко королеве приходилось останавливаться на ночлеге в тесной и сырой келье какого-нибудь убогого монастыря, а воеводе познанскому, епископам и другим членам посольства приходилось искать убежища в какой-нибудь придорожной хатке. Здесь пышный воевода, в ужасной тесноте, преспокойно раскладывался с своими товарищами на соломе и спал богатырским сном.

В Гамбурге встретил Марию-Людовику королевский дворянин, посланный с письмом от Владислава, который беспокоился о своей жене. Не получая долгое время от своих послов никаких известий, король не только не знал, где находится его невеста, но ему не было даже известно выехала ли она из пределов Франции; а между тем Марии-Людовике нужно было поспешить своим приездом в Варшаву, так как, если бы она не приехала туда до 14 февраля, т. е. до заговения, то приходилось

бы отложить совершение второго её брака с королём до конца великого поста или нужно было бы просить у папы особого разрешения на совершение брака в постное время. Очевидно было однако, что при всём старании королевского дворянина ускорить поезд Марии-Людовики, она по краткости оставшегося времени никак не могла поспеть даже к самому крайнему сроку, так что самая удачная поездка должна была кончиться тем, что королева успела бы приехать перед заговением только в Данциг. Владислав сообразил это и потому захотел съехаться с Марией-Людовикой в этом городе, чтобы там самому обвенчаться с нею; но внезапные приступы жестокой подагры остановили короля на полдороге от Варшавы к Данцигу. С досадой король вернулся в свою столицу, сердясь на Опалинского за медленный привоз королевы.

Вернувшись в Варшаву, король послал к своей невесте посла с разными подарками, но здесь вышло обстоятельство, сильно огорчившее королеву. Королевский гонец вёз с собой множество шуб, шубок, меховых кофточек, муфт и тёплых шапочек. Присылка таких ве-

щей короле́м Мари́и-Людо́вике, в зимнюю стужу, явно показывала ей как заботился Владислав о своей будущей супруге. С большой признательностью приняла королева эти подарки; особенно ей понравилась пунцовая бархатная шубка с золотыми пуговками, подбитая горностаем. Едва только королева надела на себя шубку, как на одном из её рукавов оказался маленький билетик с надписью сделанной рукою Владислава – «Для пани Экенберг». Королева не без изумления обвела глазами окружавших её дам и кавалеров и сбросила с себя шубку. Вскоре злые языки подсказали королеве, что та, для которой была назначена эта шубка, была и моложе и пригожее королевы, и что ей уже принадлежало сердце Владислава.

Открытие этой оскорбительной тайны сопровождалось слезами и рыданиями Мари́и-Людо́вки. Король, узнав об этом происшествии, ещё более рассердился на пана Криштофа. По мнению короля, подставной супруг королевы был чрезвычайно виноват в том, что он не сумел скрыть грешки её настоящего мужа. Такое воззрение Владислава на

обязанность воеводы познанского вскоре подготовило последнему самую жестокую обиду, а обида эта отозвалась впоследствии даже и в делах государственных.

Не зная ничего о гневе Владислава, Опалинский продолжал ехать в Варшаву, лаская себя приятными надеждами на получение двух маршалств и богатых староств. Вскоре, однако, пан Криштоф разочаровался в своих розовых мечтах.

На границе владений курфюрста бранденбургского, тогдашнего вассала Польши, встретила Марию-Людовику торжественная депутация. С изумлением увидел воевода познанский, что во главе этой депутации находится, с маршальским жезлом в руке, воевода поморский Денгоф, бывший его товарищ по посольству в Париж и успевший прежде Опалинского приехать в Варшаву. Явившись перед королевой, Денгоф подал ей свой маршальский жезл, украшенный брильянтами, и сказал королеве, что хотя звание маршала её двора и пожаловано ему королём, но что он почёл бы себя ещё более счастливым, если бы её величеству угодно было из собственных

рук передать ему знак маршальского сана.

Побагровел от гнева Опалинский; у него захватило дух в ту минуту, когда королева, не знавшая обещаний, сделанных Владиславом Опалинскому, с благосклонной улыбкой передала маршальский жезл его счастливому сопернику. Ясно было пану Криштофу, что теперь и все прочие обещания короля были ничего более, как только пустою приманкой.

С большой неохотой провожал теперь воевода познанский свою временную супругу и очень был рад, когда в Данциге, на смену ему, подъехал брат Владислава, Кароль. Воевода отъехал теперь на время в своё близлежавшее имение и только под самой Варшавой присоединился снова к поезду королевы.

Владислав успел между тем получить разрешение св. отца на совершение брака в течение поста, и потому, 11 марта, в костёле св. Яна, папский нунций обвенчал короля с Марией-Людовикой. По случаю поста не было никаких празднеств.

В благодарность же за посольство в Париж, король пожаловал Опалинскому богатое ковельское поместье, в воеводстве волынском,

и оставил за ним старóство, принадлежавшее его отцу, и таким образом щедро вознаградил издержки, понесённые Опалинским во время его посольства. Но не такой награды желал воевода познанский, богатый сам по себе и без королевских даров. Он не мог простить королю отдачу маршальского жезла Денгофу. Оскорблённый магнат удалился от двора в свои родовые поместья и поклялся в душе отомстить неблагодарному Владиславу при первом удобном случае.

Опалинский исполнил свою клятву.

Нитка жемчуга

Ещё в начале нынешнего столетия, в одной из самых живописных местностей Галиции, стояли тёмно-красные стены Белокаменского замка, но обвалившиеся башни и груды кирпичей в разных местах предвещали скорое обращение этого замка в совершенные развалины. Заглохший сад, из густых вековых лип и высоких каштанов, окружал замок на большом пространстве. В этом саду виднелись ещё следы цветочных клумб, расположенных в виде гербов и именных шифр прежних обладателей опустелого замка. В ту пору казалось, что сада не расчищали, а строений не поправляли со времени первого их владельца.

В одном из нижних этажей оставленного всеми замка было небольшое окно с железной решёткой и с вывалившеюся рамою. Из этого окна веяло могильною сыростью, а в той обширной, со сводами, комнате, которую оно так слабо освещало, совершилось некогда страшное, кровавое мщение.

Лет за сто назад до настоящего времени Бе-

локамский замок принадлежал князьям Радзивиллам. В нём жила в ту пору жена Кароля Радзивилла, известного во всей Литве и Польше под именем "Panie kochanku". Молодая и красивая собой княгиня была отрасль одного знатного, гетманского рода: и отец и дед её были великими гетманами.

Вышедшая неохотно замуж за Радзивилла, княгиня ветрено проводила свою жизнь; она без устали веселилась в Варшаве при дворе Понятовского, в то время когда муж её, отъявленный противник офранцуженного короля, разъезжал по любимой им Литве, готовя там недругов Станиславу-Августу. Ещё более закружилась лёгкая головка княгини, когда "Panie kochanku", преследуемый королём, должен был уехать за границу и скитаться там, как изгнанник. Княгиня нисколько не горевала о своём муже; была в самых дружеских отношениях с главным врагом его – с королём, и, как говорила молва, передавала даже обворожительному для женщин Понятовскому все письма, получаемые ею от князя, в которых добродушный "Panie kochanku" сообщал жене все свои замыслы, не подозревая её из-

мены.

Наконец изгнание князя прекратилось и он вернулся в родную Литву. Князь поселился в любимом им Несвиже, а княгиня между тем жила в Белокамском замке и ездила веселиться в Варшаву. Вскоре дошли до Радзивилла положительные слухи о том, как проводила время его жена, и он отправил к ней одного из служивших при нём шляхтичей.

Лежащие теперь в развалинах стены Белокамского замка были в ту пору немymi свидетелями волокитств и исканий около молодой и хорошенькой женщины, жившей в разладе с своим мужем. Они были также свидетелями и её ветрености, и её шалостей, и её непостоянства. В ту пору легко было подслушать в замке и звонкие поцелуи, и страстный шёпот, и сдержанные вздохи и весёлый смех беззаботной грешницы. Можно было подсмотреть в ту пору в Белокамском замке и смущение волокит, оставшихся ни при чём, и торжество счастливых, успевших овладеть сердцем красавицы. Толпа отборной варшавской молодёжи постоянно то вздыхала, то смеялась около обворожительной ветреницы.

Нередко в замке бывали роскошные пиршества, при громких звуках княжеской музыки. На эти пиршества съезжалось к княгине столько гостей, что они занимали не только обширный замок, делавшийся тесным при таких наездах соседей, но и с трудом размещались во всех окрестных избах и лачужках.

В конце одного из таких пиров попал неожиданно в Белокамский замок шляхтич Чешейко, посланный князем к княгине. Все дороги, шедшие от замка, были запружены в это время гостями, разъезжавшимися от княгини. Между роскошными колымагами и простыми бричками с трудом пробрался Чешейко до ворот княжеского замка. Здесь встретил его старый слуга радзивилловского дома и откровенно рассказал приезжему шляхтичу о грешном житье своей пани. Посланный князя крепко призадумался при этом рассказе.

Надобно заметить, что не только поручение Радзивилла, но и сердце молодого шляхтича заставило его побывать в Белокамском замке. Здесь при княгине жила хорошенькая шляхтяночка панна Саломея, на которой хотел жениться Чешейко и только нужда меша-

ла ему достигнуть желанного счастья.

Панна Саломея сидела за пядьцами в то время, когда в её чистую горенку неожиданно подкрался Чешейко. Он тихо кашлянул позади её, она оглянулась, вскочила, вскрикнула и вспыхнула вся, как вспыхивает розовою зарёю вечернее небо. Саломея бросилась на шею жениху, начались расспросы и ответы. Влюблённые не успели ещё наговориться, когда к ним в комнату вбежал запыхавшийся слуга.

– Панна Саломея, – кричал он, – у тебя есть гость, которого княгиня сейчас же хочет видеть.

– Верно меня зовёт княгиня, – отозвался Чешейко, и крепко поцеловав невесту пошёл следом за слугою. Шляхтич проходил теперь через длинный ряд обширных покоев; толпа прислуги, суетившаяся ещё за уборкою множества столов, показывала, что княгиня жила без мужа среди весёлого и многолюдного общества.

Приосанившись и поправив свои усы, молодой и статный шляхтич вошёл смелым шагом в богато убранную опочивальню княги-

ни. Здесь княгиня, в лёгком полувоздушном платье, лежала на софе, как будто отдыхая после сильной усталости. Приветливо она поздоровалась с вошедшим шляхтичем и протянула к нему, для поцелуя, свою белую ручку. Желая задобрить мужниного посланца, княгиня теперь сама, по своей воле, награждала бедного шляхтича такой лаской, которой так усиленно добивалась у красавицы сама блестящая молодёжь Варшавы. При множестве безотходных волокит около княгини, считалось особенным счастьем даже и то, если удавалось иному насладиться поцелуем её ручки. Но эта хорошенькая ручка не прельстила молодого шляхтича; он стоял молча перед княгиней, покручивая одной рукой свой ус, и поддерживая другой свою саблю. Казалось, что шляхтич вовсе не замечал приветливой ласки, оказанной ему знатною пани.

– Садись здесь, подле меня, – нежным голосом сказала княгиня равнодушному гостю, показывая ему рукою на позолоченное кресло.

Шляхтич сделал несколько шагов вперёд, пристально смотря на княгиню. Её пышная

красота, в полном разгаре цветущей молодости, взяла верх над суровостью шляхтича, он не утерпел, и низко поклонившись княгине, схватил её ручку и невольно, но крепко поцеловал её.

– Ты приехал сюда прямо от моего мужа? – спросила княгиня, насупив немножко свои тоненькие брови над глазками, покрытыми блестящей паволокой.

– Прямо от князя, яснееосвещённая пани, – отвечал отрывисто шляхтич, желая со всей неумолимой строгостью исполнить данное ему поручение, а между тем бессознательно растерявшийся под обаятельным взглядом красавицы.

– А что, есть от князя письмо?

– Письма от князя нет никакого, он дал мне только одну записочку, да словесные поручения к вашей княжеской чести.

– Это значит, что он сделал тебя своим уполномоченным... – перебила с презрительной насмешкой княгиня. – Нечего сказать, хорошо поступает со мною мой достойный супруг!.. Он бросил меня на произвол судьбы, а сам, как говорится, гоняет ветер в поле или

веселится напропалую и без толку проматывает своё состояние, а между тем ещё сердится на меня за то, что я просила короля назначить над ним опеку!..

При этих словах кровь прилила к лицу честного шляхтича. Он удержал однако порыв своего гнева. Сперва он закусил губы, а потом, спокойным и ровным голосом, принялся отвечать княгине против её нападков на князя.

– Сколько я мог заметить, – возразил шляхтич, – супруг вашей княжеской милости находится в полном рассудке, и поэтому никакой опеки учреждать над ним нет надобности... Он честно служит родине своей кровью и, как я знаю, готов служить ей и последним грошем, который у него останется после забора его имений по королевскому повелению... Сам же князь вовсе не веселится: ему теперь не до того, но он только угощает своих приятелей и гостей, в благодарность за их доброе расположение...

– Хорош мой защитник и покровитель!.. – запальчиво перебила княгиня, – он даже никогда не бывает у себя в доме!

– Бывает ли он у себя в доме или нет, это всё равно для вашей княжеской милости, – сурово заметил шляхтич. – Знайте, ясная пани, только одно, что где бы князь ни был, он всегда и везде дорожит честью своей супруги, и я приехал сюда за тем, чтобы забрать с собою того, кто, живя в здешнем замке, вредит доброй молве о вашей княжеской милости...

Побледневшая от злобы княгиня вздрогнула и бросила грозный, заискрившийся взгляд на смелого шляхтича.

– Может быть ты и мне лично привёз какое-нибудь приказание?.. – прерывающимся от гнева голосом спросила княгиня; и в это время её высокая грудь то поднималась, то опускалась, под лёгкой, полупрозрачной тканью.

Чешейко молчал, смотря не без волнения на раздражённую красавицу.

– Что же! говори! – настойчиво сказала княгиня.

– Если вашей княжеской милости угодно было самим заговорить об этом, то я должен передать вам желание князя, чтобы его супруга, для прекращения недоброй о ней мол-

вы, немедленно пошла на житьё в монастырь, как это обыкновенно делают все наши знатные пани, когда мужья их отправляются в далёкий поход...

– Ты забываешь с кем говоришь!.. – с гневом вскрикнула княгиня. – Я дочь и внука гетманов, я сама сумею сберечь свою честь!..

И княгиня, в припадке запальчивости, схватилась за хрустальный графин.

Чешейко слышал уже не раз о том, до какой степени забывалась своенравная княгиня в порывах сильного раздражения. Шляхтич смекнув, что самая крошечная, самая беленькая ручка может в сердитую минуту хорошо хватить графином по лбу, уклонился немного в сторону, а княгиня между тем, опомнившись от излишней вспышки, начала наливать из графина в стакан воду и выпила её до последней капли, желая показать, что она во все не думала вооружаться графином.

– Разве со мной можно распорядиться так, как распорядятся с простой служанкой?.. – надменно спросила она у шляхтича, уставив на него свои большие, огненные глаза.

– Я не имею никакого права рассуждать об

этом, – кротко заметил шляхтич, кланяясь по-чтительно княгине, – моё дело – исполнить только приказание князя.

– Наперёд однако тебе следовало подумать, удастся ли ещё исполнить такое приказание... – перебила княгиня.

– Я думаю, что удастся, – спокойным голосом возразил шляхтич, брякнув саблей.

– Так ты в самом деле думаешь, что тебе удастся исполнить то, зачем ты сюда прислан? – с гордостью и с изумлением спросила княгиня, и её громкий, судорожный смех раздался на всю комнату. – Нет этого никогда не будет!.. – добавила она, топнув о ковёр своей маленькой ножкой и погрозив шляхтичу беленьким пальчиком.

Шляхтич не возражал ничего; он только самоуверенно поглядывал на княгиню.

– Поверь, что ни ты, ни князь ничего мне не могут сделать: у меня найдутся заступники, – проговорила княгиня после некоторого молчания.

Затем она прошлась несколько раз по комнате, в сильном волнении; потом остановилась перед уборным столиком и взяла с него

небольшой ящичек, обтянутый пунцовым бархатом. Княгиня открыла ящик и под её тоненькими пальцами заблестели, заискрились и радужно заиграли крупные брильянты. С этим ящичком в одной руке подошла княгиня к Чешейко, а другую руку положила она ему на плечо.

– Ты должен знать, мой милый, – сказала она ему своим серебристым и вкрадчивым голосом, – ты должен давно знать, что силой со мной ничего не сделаешь и что со мной можно сладить только уступчивостью. Рассуди сам хорошенько – к чему может повести нас домашняя ссора?.. Если я уйду в монастырь, то разве будет честь князю за то, что он одолел слабую, беззащитную женщину? Сообрази сам и то, какая будет при этом польза и тебе самому?.. Чем может наградить тебя князь, если в скором времени он сам, как изгнанник, лишится всего и останется без куска хлеба?.. Ведь ты знаешь, что у него уже отняты все его литовские имения за восстание против короля...

– Всё это я очень хорошо знаю, ваша княжеская милость, – твёрдым голосом отвечал

шляхтич, – но не смотря на это я всё-таки до конца хочу остаться верным своему доброму пану.

– Это очень похвально, – с живостью и досадой перебила княгиня, – но вспомни, однако, что панна Саломея, которую ты так любишь, никогда не пойдёт замуж за такого бедняка, каков ты... Что у тебя есть?..

– Я и сам не захочу заставить её делить мою нужду, и до тех пор я не женюсь на ней, пока кое-как не устроюсь.

– Вот видишь!.. – с радостью подхватила княгиня, и с этими словами она вынула из ящичка нить чудного жемчуга ослепительной белизны и распустила эту нить перед глазами шляхтича. – Ты знаешь этот жемчуг? – спросила она Чешейко.

– Знаю; это наследственная драгоценность княжеского рода Радзивиллов, и она не должна никогда и ни в каком случае выйти из него... Впрочем, – добавил шляхтич, вынимая из шапки лоскуток сложенной бумаги, – вместе с поручениями, уже переданными вашей княжеской чести, я имею ещё приказание князя – взять от вас этот жемчуг; – и с этим

словом он подал княгине доверенность князя на получение наследственного сокровища.

Княгиня взяла записку мужа, а между тем шляхтич протянул руку к жемчугу и выхватил нить из рук княгини. Княгиня крикнула в ужасе, увидя, что она лишилась самой главной драгоценности. Шляхтич не обратил никакого внимания на крик княгини и спокойно положил за пазуху драгоценную вещь, с тем, чтоб немедленно отвезти её к князю. Княгиня с изумлением смотрела на Чешейко, который, почтительно поклонясь ясновельможной хозяйке, вышел из её опочивальни, попросив княгиню уведомить князя о том, что она уже передала жемчуг его посланному.

Заискрились глаза молодой женщины и задрожали её розовые ноздри по выходе Чешейки.

– Теперь ты пропал, безумец!.. – проговорила она с какой-то дикой радостью, разорвав в мелкие кусочки записку князя о выдаче жемчуга его поверенному. – Ты узнаешь что значит оскорблять женщину и отнимать у неё того, кого она любит!..

Княгиня кликнула Саломею и приказала

ей позвать, как можно скорее, пана Кулешу.

Через несколько минут, в спальню княгини вошёл впопыхах чрезвычайно красивый и статный мужчина, который, как гласила молва, пользовался особенным и притом постоянным расположением молодой княгини. Она изменяла всем своим любимцам, кроме одного пана Кулеша.

Спустя немного времени после этого выехал из Белокамского замка Чешейко, радуясь тому, что он успел по крайней мере исполнить хоть одно поручение своего пана, имея дело с такой неуступчивой и вспылчивой пани, какова была княгиня. Чешейко надеялся получить от князя новые наставления и в скором времени опять побывать в замке и исполнить приказание на счёт выпроводов оттуда Кулеша.

Прощаясь с своим женихом, пани Саломея дала ему поцеловать одну ручку, а другою благословила его, желая отвратить от него своим благословением всякую беду и напасть. Теперь Чешейко ехал, опустив поводья, и думал о своей хорошенькой невесте.

Долго после отъезда Чешейки толковали

между собою, при запертых на задвижку дверях, княгиня и её любимец. Когда же окончилась эта задушевная беседа, то доверенный княгини опрометью побежал вниз.

– Только, ради Бога, будь осторожнее, – кричала ему вслед умоляющим голосом княгиня. – Он, как видно, человек отчаянный!.. Будет защищаться упорно...

Выбежав во двор, Кулеша созвал всех слуг и торопливо начал отдавать приказания. Во всём замке поднялась ужасная тревога: шумели, суетились, кричали, седлали лошадей и заряжали ружья. Казалось, что в замке ожидали нападения сильного неприятеля. Когда же всё было готово, то пан Кулеша, с обнажённою саблею, сел на коня.

– Гей, хлопцы!.. За мной!.. – крикнул он громко и с этими словами пустился по дороге, по которой ехал Чешейко; а следом за Кулешой помчались казаки.

Говор и шум продолжался однако в замке и после этого. Среди общего переполоха все громко говорили о том, что приезжавший от князя шляхтич украл у княгини нить жемчуга, которая имела невероятную цену.

Скоро пан Кулеша с своими казаками нагнал Чешейко. Обороняться было некогда, да при том поверенный князя не чувствовал за собою никакой вины. Спустя несколько часов везли Чешейко в Белокамский замок связанного по рукам и ногам. Шляхтич лежал теперь в бричке, а подле неё, с молодецкой осанкой, ехал Кулеша, держа в руке драгоценную нитку жемчуга, которая, в присутствии казаков, как свидетелей, была найдена за пазухой у Чешейки.

– Я не хочу мстить ему сама, – сказала с презрительным равнодушием княгиня, принимая жемчуг из рук Кулеша, – но я не желаю однако оставить без наказания его низкий поступок: пускай суд определит ему наказание...

По приказанию княгини было сделано в трибунал надлежащее повещение о поступке Чешейки, а между тем бедный, ни в чём невиноватый шляхтич был посажен в подвал Белокамского замка.

Ужаснулась панна Саломея, когда узнала, что жених её обвинён в краже; бедная девушка не выдержала этого удара и впала в страш-

ную горячку. Скоро начался над Чешейкой суд. Законы польские не давали потачки во-рам и мошенникам, а между тем никакие оправдания Чешейки не принимались в уважение, потому что улики в краже были очевидны и бедняга был приговорён к отсечению головы. Узнав об этом приговоре, княгиня распорядилась, чтоб её служанки сшили для приговорённого к казни смертельную рубашку. Заливаясь слезами и громко рыдая исполнили они приказание своей жестокосердой госпожи. Как помешанная смотрела на всё это панна Саломея, не сознавая ясно того что вокруг неё делалось.

Когда окончательно состоялся смертный приговор, то нужно было привести его в исполнение; во всём околотке нельзя было найти палача. Как ни был предан княгине её любимый наперсник, пан Кулеша, но он как шляхтич не мог взяться за ремесло палача. Пошли искать охотника по окрестным деревням, но ни один крестьянин не хотел сделаться палачом, хотя тому, кто вызвался бы отрубить голову Чешейко, предлагалось за это увольнение от барщины на всю жизнь. Нако-

нец, не в близком от замка местечке, выискала один какой-то мясник, который, под пьяную руку, и отхватил в тёмном подвале голову несчастному шляхтичу...

После гибели жениха, панна Саломея ушла в какой-то далёкий монастырь и вскоре замолк на веки в Белокамском замке слух о бедной девушке...

Польское правительство, до которого дошла весть о кровавой расправе с Чешейко, приказало по просьбе его родственников как можно строже исследовать это тёмное дело. Княгине и её любимцу начинала теперь грозить нешуточная опасность, но обстоятельства изменились в их пользу, потому что в это время австрийские войска заняли Галицию и здесь начался новый порядок...

Княгиня поспешила в Вену и там стала посещать беспрестанно дворцовую капеллу. Богомольную императрицу поразила необыкновенная набожность молодой женщины. Вскоре пришло из Вены приказание – прекратить все розыски о смерти Чешейки, а спустя несколько времени, на плече преступницы-богомолки заблистали брильянтовые зна-

ки ордена Марии Терезии.

Судьба однако покарала княгиню. Разведшись с князем, она вышла потом замуж за какого-то бездомного француза, и в глубокой старости эта представительница знаменитого гетманского рода, отвергнутая всеми, скиталась около Белокамского замка, питаясь скудным подаянием.

Вызов родственников

В одном из значительных польских местечек был храмовой праздник. Множество разных колымаг, бричек и повозок загромождали большую костельную площадь, обсаженную высокими пирамидальными тополями. В местечко съехались на праздник и богатые паны с их многочисленной челядью; сюда добрался также на своей маленькой тележке и соседний мужичок с женой, у которой, по случаю праздника, был надет на голове шёлковый платочек, а на шее висели янтарные бусы. И муж и жена ехали на праздник, сидя в тележке на большой вязанке льна, который был бел как снег и который они везли ксёндзу, как церковную десятину. На возу сидели с отцом и с матерью их пухленькие, розовые дочери.

Толпы набожных пешеходов валили гурьбой в местечко. В местечке же на рыночной площади стоял ряд толстых столбов; у каждого из столбов, соединённые между собою близким родством, небогатые шляхтичи привязывали своих лошадей и никто из посто-

ронних не смел прикоснуться в такому столбу, назначенному только для известного семейства.

После обедни, шляхтичи, прихожане и все почётные гости были запрошены на обед к отцу-плебану, перед домом которого, под ясным летним небом, расположилось множество народа, весело проводя время.

Между собравшимися у отца-плебана соседями шёл обычный разговор о погоде, о посевах и о разных случаях, бывших недавно в околотке.

– А что ж, пан Матеуш, когда же поедешь получать наследство?.. – спросил какой-то старичок одного, очень скромно, но чисто одетого шляхтича, бывшего в числе гостей.

– А вот Господь Бог даст, так и выберусь недельки через три, – отвечал смиренно тот, к кому относился этот вопрос. – Ещё не все нужные бумаги успел подобрать.

Пан Матеуш приятно улыбнулся. Самые отрадные мечты промелькнули в его голове, под длинным чубом, на котором пробивалась уже седина.

Между тем гости, по приглашению радуш-

ного хозяина, принялись за закуску. Разговор делался и шумнее, и веселее, и оживлённее. Толковали о разных разностях, но всего чаще затрагивали гости пана Матеуша Буйницкого, добродушно подшучивая над тем, что он, после своей поездки в замок своего соимённого, кастеляна Буйницкого, сделается богатым и могущественным магнатом.

Заметно было, что этого рода шутки не только что не обижали бедного шляхтича, но что, напротив, они радовали его.

– Смейтесь, смейтесь, – думал про себя пан Матеуш, – а послушаем что заговорите вы, когда ко мне на самом деле перейдёт всё огромное богатство кастеляна.

Долго продолжался пир у отца-плебана. Наконец гости, поблагодарив хозяина за угощение, отправились по домам. Вместе со всеми поехал, в своей простой одноконной бричке, и пан Буйницкий. Спустя же дней десять по возвращении с праздника, пан Матеуш, на той же самой саврасой лошадке и в той же самой бричке, отправился в далёкий путь, в замок кастеляна Буйницкого.

Пан Владислав Буйницкий, кастелян са-

нокский, владетель Буйничков, Овражков, Наровча и других огромных поместий, считался во всём своём околотке первым паном. Жил он в обширном старинном замке, ездил на сеймики и сеймы в сопровождении множества прислуги и сторонников, которых он, как бы их много ни было, угощал на серебряной и золотой посуде. Все сенаторы и сам король, Ян-Казимир, заискивали доброго расположения у богатого магната. К нему-то и пробирался теперь его однофамилец, со множеством разных бумаг, тщательно зашитых в грубую холстину и запрятанных за пазуху под кунтушем.

Пан кастелян, несмотря на свою знатность и на свои несметные богатства, не был однако доволен судьбою. Не радовался он и тому, что около него расцветало шесть прехорошеньких дочерей, которые резвились около него, как резвятся пёстрые бабочки. Тяжёлые и грустные думы постоянно одолевали могущественного кастеляна. С грустью проезжал он по своим обширным владениям, подумывая о том, что всё это разделится на части после его смерти и что скоро в его родной сторо-

не угаснет навеки знаменитое имя Буйницких.

Желая иметь наследников этого имени, пан Буйницкий ещё в молодых годах женился на бедной девушке, происходившей, впрочем, из славного рода. Кастелян, по-видимому, был очень счастлив в супружеской жизни, потому что Бог послал ему жену кроткую, благоразумную и привязанную к нему всем сердцем. Меньше чем через год она родила ему дочь. Насупился пан Буйницкий при этой вести; но делать было нечего, и он пышно справил крестины новорождённого ребёнка.

Прошёл ещё год. С нетерпением ждал пан Буйницкий, кого подарит ему супруга – сына или дочь, и крепко огорчился он, когда узнал, что в замке его явилась на свет новая девочка. Минул ещё год – и у пани Буйницкой родилась опять дочь; – не вытерпел муж и принялся журить жену, зачем она не дарит ему сына. В следующем году прибыла пану четвёртая дочь – и он рассердился до такой степени, что даже не захотел взглянуть на новорождённую малютку. Спустя год, новая прибавка в семействе Буйницкого – и опять дочь.

Вспылил кастелян, обманувшись в своей надежде иметь наследника, и приказал отправить ребёнка, вместе с мамкой, на фольварк.

В течение следующего года пан кастелян, смотря на свою всё более и более полневшую супругу, предавался самым радостным мечтам. Он воображал как будет ласкать маленького сына, как он вырастет и будет славным наездником и лихим рубакой, как он женит сына, как у него пойдут внуки и как таким образом, надолго, если не до конца мира, будет продолжаться древний род кастеляна.

Обманчивы были однако надежды тщеславного пана, потому что когда явился у него в доме седьмой младенец, то оказалось, что вместо ожидаемого сына послал Господь кастеляну ещё новую дочь. Не вытерпел этого обманувшийся отец; он заскрежетал от гнева зубами, схватился в отчаянии за голову и приказал новорождённое дитя отправить в дальнюю деревню и там воспитывать её, как простую крестьянку.

Между тем время шло своим чередом; кастелян и его супруга старели, а дочери их росли и хорошели. Умилостивившийся кастелян

вернул в свой замок двух последних дочерей, высланных им из его дома; но всё же он не любил своей семьи так, как он любил бы её, если бы среди её вырастал наследник его имени и его богатства. Особенно доставалось за дочерей бедной супруге. Раздражённый кастелян постоянно укорял её за то, что она произвела столько дочерей, как будто она в самом деле была виновата в том, что не имела сына.

Досадуя на жену, кастелян стал подумывать, что не худо бы было развестись с нею и жениться на другой, чтобы хоть этим способом добыть себе наследника. Но как он ни ломал голову над тем, чтобы выискать или выдумать какую-нибудь причину к разводу, он не мог ничего придумать, так как сожительница его была женщина безукоризненная во всех отношениях и представляла собою образец всех супружеских добродетелей. Суетный кастелян не унимался однако; он попробовал было заикнуться о разводе перед епископом, но правдивый и строгий пастырь не только что дал ему хороший духовный нагоняй за его грешные расчёты, но и погрозил ещё ему

Божией карой, если только он позволит себе обидеть ни в чём не виноватую супругу.

После этого кастелян оставил мысль о разводе. Боязнь несчастий в земной жизни и страх адских мук в будущей отбили у набожного пана мысль о разводе, и он стал добывать себе наследника другим способом. Он призывал к себе на совет и лекарей, и учёных, и знахарей, и баб, слывших в народе ворожеями и колдуньями. Он ездил с женою на богомолье по разным монастырям, молился, постился, раздавал убогим щедрую милостыню и делал богатые вклады по разным костёлам. Ничего однако не помогало.

Кастелян тужил невыносимо, а между тем время шло своим чередом, дочери кастеляна росли и год от году становились всё краше и краше.

– Постой же, – подумал пан Буйницкий в одну из самых тяжёлых минут, – построю я на свой счёт церковь, а подле неё монастырь и поселю в нём святых отшельников... Даю также Всевышнему обет, – добавил с набожным чувством кастелян, – что если у меня после этого родится сын, то я всех моих дочерей

отдам в монастырь, пусть молятся они за того, кто будет продолжать наш знаменитый и древний род!..

В скором времени съехались в замок кастеляна лучшие архитекторы и живописцы; долго толковал он с ними о том, как бы великолепнее и богаче построить храм и монастырь во славу Божию. Когда же художники решили этот вопрос, то поблизости замка закипела деятельная работа: толпы каменщиков, плотников, маляров и штукатуров безостановочно трудились над постройкою церкви и обширных монастырских зданий. Кастелян не жалел ничего, и так как, несмотря на всё его богатство, у него не хватило разом наличных денег на такие огромные расходы, то он заложил два поместья и продолжал строить монастырь на занятые деньги.

На другой год, среди тёмной зелени соснового леса, белелись уже высокие башни костёла и стены монастырских зданий. Когда же всё было готово, то сам местный епископ освятил новый костёл. В твёрдой надежде иметь наследника своего имени и своих богатств, кастелян отпраздновал освящение

храма с необыкновенным великолепием. Съехавшиеся в замок гости не могли надивиться огромности костёла, его яркой позолоте и множеству резных и лепных украшений, исполненных с большим вкусом и необыкновенным изяществом. Спустя год в новоотстроенном монастыре поселились монахи кармелитского ордена. Строитель монастыря, наделив братию угожьями, лесами и рыбными ловлями, поставил им в непрременную обязанность, чтобы они и день и ночь молили Господа Бога о даровании ему сына.

Прошло ещё несколько времени, но ожидание кастеляна не исполнилось. Он уже не совсем благосклонно начал посматривать на святых отцов, приписывая свой неуспех их не слишком усердным молитвам и понуждал их молиться и почаще и подольше и поприлежнее.

Нельзя описать гнева кастеляна, когда после самых сладких его надежд и даже заготовления колыбельки с гербами его фамилии для новорождённого сына, у него родилась восьмая дочь. Задыхался от злобы обманувшийся кастелян; он не взглянул даже на свою дочь и

приказал отправить малютку на самый отда- лённый фольварк, с тем чтобы никогда не смели даже говорить о ней в его присутствии.

Истощив все усилия для того, чтобы видеть своего наследника, кастелян наконец убедился, что он навеки лишён этого счастья; тем не менее он всё-таки не отставал от мысли – продолжить как-нибудь мужское колено своего рода. Теперь кастелян засел над гербовниками и кипой фамильных бумаг. С большим напряжением перечитывал он и гербовники и бумаги, желая найти где-нибудь отрасль своего рода с представителем её по мужскому колену.

– Пусть бы только найти мне какого-нибудь пана Буйницкого нашей древней крови, – рассуждал сам с собою кастелян, – и будь он хоть стар, хоть урод, хоть нищ, хоть калека, но я предоставлю ему выбрать в жёны любую из моих дочерей. Пусть женится на ней и продолжает наше знаменитое имя... Что за беда, если мой дальний родственник и однофамилец принадлежит к самой убогой шляхте: у меня много богатства и я его сейчас сделаю знатным паном... Мне только нужна на-

стоящая кровь Буйницких!..

Как однако ни рылся кастелян в гербовниках и в пыли домашнего архива, он всё-таки никак не мог напасть на такие следы, которые указали бы на существование мужской отрасли его рода в Польше или Литве. Суежный кастелян доходил до отчаяния и решительно не знал что ему делать.

– Настояю же я на своём! – сказал он в припадке сильного гнева, ударив кулаком по столу, – во чтобы то ни стало, а я достану себе папа Буйницкого!..

Спустя несколько дней после этого, из замка кастеляна выехали во все стороны нарочные гонцы. Один из них поехал отыскивать какого-нибудь папа Буйницкого в Мазовии, другой в Куявии, третий на Волыни, четвёртый на Подоле, пятый в Литве.

С нетерпением ожидал теперь кастелян возврата своих посланных, подумывая о том, какого-то они привезут ему родственника. Уже несколько гонцов возвратились в замок и донесли кастеляну, что несмотря на все свои усилия они не могли отыскать его родственника и однофамильца. С горестью пока-

чивал кастелян головою, выслушивая эти недобрые вести.

Однажды, когда он в глубокой задумчивости сидел у окна, посматривая на заходившее солнце и думая о том, что вскоре, подобно солнцу, угаснет и его знаменитый род, он увидел, что во двор замка въезжал какой-то бедный шляхтич на саврасой лошадке, запряжённой в простую бричку. Шляхтич смело подъехал к самому крыльцу замка, слез с брички и вошёл на крыльцо. Кастелян подивился такой бесцеремонности бедного гостя в доме богатого пана. Но удивление кастеляна обратилось в восторг, когда вбежавший к нему в комнату слуга громко крикнул:

– Пан Матеуш Буйницкий, вельможный родственник ясневельможного пана кастеляна, приехал к его милости, нашему пану!..

Обрадованный кастелян обезумел от неожиданной радости. Крепко он обнял и чуть не задушил в своих объятиях желанного гостя, которым кастелян дорожил теперь до такой степени, что тотчас же приказал снять с его брички колёса, разобрать гати, сломать мосты и перекопать дороги, опасаясь чтобы

драгоценный гость не уехал как-нибудь из его замка, не порешив дела о продолжении его знаменитого рода.

Нужно ли говорить о том, как угощал кастелян пана Матеуша, который не мог надивиться великолепию замка, множеству слуг и громаде золотой и серебряной посуды. Бедный шляхтич не мог дать себе о своём положении никакого отчёта, когда кастелян, рассказав ему о всех своих богатствах, объявил, что все они перейдут к нему, если только он захочет жениться на одной из дочерей кастеляна. Всё что видел и слышал теперь пан Матеуш ему казалось каким-то волшебным сном, и он каждую минуту боялся, чтобы не пробудиться от этого чудесного сна.

– Староват он для моих дочерей, – думал про себя кастелян, смотря на своего соимённого, у которого во время неблизкой дороги успела уже показаться щетинисто-седоватая борода, – да это ничего, дети всё-таки будут!.. Ну, дорогой мой родственник, – сказал кастелян, обращаясь к пану Матеушу, – примемся теперь за дело и посмотрим от какой линии нашего рода явился ты на свет...

Шляхтич вынул из-за пазухи привезённые им бумаги и положил их на столе перед кастеляном, который стал перечитывать их с чрезвычайным любопытством. Пан Матеуш, не без сильного биения сердца, внимательно следил за каждым движением своего будущего тестя.

– А это, брат, что значит?.. – спросил вдруг суровым голосом кастелян, и с этими словами он грозно посмотрел на шляхтича. У последнего дрогнули от страха колени.

– Как же ты можешь происходить из того же рода Буйницких, из которого происхожу я, если мой род ещё за полтораста лет разделился на отрасли, которые теперь уже угасли, а между тем из этих бумаг видно, что предки твои за сто восемьдесят лет владели таким поместьем, которого никогда в нашем роде не бывало... Ты не нашей крови!.. – громко крикнул кастелян, швырнув в сторону все бумаги, представленные ему его соимёнником.

Оробевший пан Матеуш хотел было пуститься в объяснения.

– Гей, люди! – крикнул взбешённый кастелян, – взять этого самозванца и отсчитать ему

пятьдесят батогов!..

Приказание пана было исполнено в точности. Все золотые мечты разлетелись в пыль и прах в голове бедного шляхтича...

Спустя несколько часов он тянулся обратно домой на своей саврасой лошадёнке, с трудом пробираясь по разобраннным гатям, сломанным мостам и перерытым дорогам, проклиная и свою поездку и радушную встречу кастеляна, вследствие которой не было теперь проезда по дороге.

Забилось радостью сердце шляхтича, когда он наконец увидел вдалеке родную соломенную кровлю. Ему представилась его прежняя тихая жизнь – без роскоши, и без пышности, но зато не лишённая отрады и довольства, и теперь он даже порадовался в душе, что не состоялась его свадьба с дочерью надменного кастеляна.

– Что сделал бы со мной, – подумывал не без ужаса шляхтич, – если бы и у меня, как у него, не было сыновей?.. – и холодная дрожь пробирала пана Матеуша при этой мысли.

Заговорили все в околотке о приезде пана Буйницкого.

– Ну что? – спрашивали его при встрече соседи, – устроилось дело?..

– Нет не совсем ещё, – неохотно отзывался шляхтич, при грустных воспоминаниях об исходе своей поездки.

– А что же...

– Нашлись другие, ближайшие родственники... – бормотал себе под нос пан Матеуш.

– А много их?..

– Да я насчитал их до пятидесяти, – отвечал шляхтич, вспоминая невольно о числе багатов, отпущенных ему кастеляном...

Князь Иосиф Яблоновский

В Польше существуют две фамилии Яблоновских: одна герба Гржимала, другая герба Прусс III; родоначальники обеих фамилий делаются известными в начале XVI столетия; значение же в Польше той фамилии Яблоновских, к которой принадлежал князь Юзеф, начинается со второй половины XVII века, именно с великого коронного гетмана Станислава-Яна, женатого на Марианне Казановской и бывшего другом и сподвижником короля Яна Собеского.

Внук Станислава-Яна, Юзеф Яблоновский, обладавший огромными богатствами, известен как человек учёный и писатель, но несмотря на эти качества он отличался необыкновенными причудами. Юзеф Яблоновский родился в 1711 году, и 16 апреля 1743 года, находясь польским послом в Регенсбурге, получил от германского императора княжеское достоинство Римской Империи, а впоследствии и орден Золотого Руна. По смерти Августа III он записался в число кандидатов на польский престол, но встретил неудачу и,

по избрании в короли Станислава Понятовского, уехал в Лейпциг и там посвящал своё время литературе и учёным изысканиям, учреждал премии и конкурсы, раздавал писателям золотые медали, печатал их сочинения на свой счёт, кормил, поил и одевал их; но соскучившись на чужбине он возвратился на родину и начал вести жизнь чудака.

По приезде в своё имение Ляховицы, он выстроил посредине большого пруда на острове великолепный дом, или, вернее сказать, огромный укреплённый замок. Ни одно окно этого замка не выходило на очаровательные окрестности Ляховиц, но все были обращены вовнутрь на двор. Подражая примеру владельцев особ, князь устроил в этом замке аудиенц-залу, окружил себя войском, образовал кругом себя многочисленный двор, в составе которого были шамбеляны, то есть камергеры, расставил пушки на валах кругом замка и жил там долгое время, не имея ни в ком надобности. Но крепко сжалось сердце Яблоновского, когда однажды он встретил необходимость обратиться с просьбою к бывшему своему сопернику тогдашнему королю

Станиславу Понятовскому, и жестокий удар был нанесён самолюбию князя, когда просьба его осталась без исполнения. Раздражённый Яблоновский приказал вынести портрет короля из своих комнат и в наказание повесить его в караульне. Весть об этом дошла до короля, который наслышавшись о странностях Яблоновского, сделал вид, будто ничего не знает о нанесённом ему оскорблении. Тогда Яблоновский решился пойти на мировую и написал к королю письмо, вроде извинения в своём поступке. Король отвечал на письмо князя так: "Зная ваш ум и ваше сердце, я был уверен, что вы, размыслив о вашем поступке, верно сами будете жалеть о нём. Портрет мой, повешенный по приказанию вашему в караульне, мог замараться, поэтому посылаю вам новый, весьма похожий, для того, чтобы он напоминал вам меня."

В сношениях своих с лицами, которые были ему обязаны, Яблоновский обнаруживал доброе сердце, не отказывал никому, кто просился к нему в службу, и если кто-нибудь из служивших у него навлекал на себя неудовольствие князя, то он запрещал виновному

являться к нему иногда в продолжении нескольких дней, иногда недель, а иногда и месяцев, отправлял его на один из своих фольварков и сам записывал день высылки и срок, на который виновный был им удалён.

Между тем во всё это время он беспрестанно спрашивал окружавших его: "Что поделывает такой-то? вероятно он сильно тоскует? да, да, – прибавлял он, – какое ужасное наказание не видать моего лица!"

После определённого срока виновный был возвращаем в замок князя, выслушивал его наставления, после чего в награду за наказание, которое лишало высланного возможности видеть лице князя, он получал пару коней или несколько десятков червонцев. Такой способ взыскания вскоре всем понравился, и служившие при князе, сговорившись между собой, устраивали дело так, что все поочередно подвергались его гневу.

Но в припадках вспыльчивости князь наказывал так же свою любимую дочь Теофилию, посылал её под арест в караульню, где княжеская милиция стояла на часах; туда же отправлял он и тех из своих гостей, кто нару-

шал или установленный им этикет, или, по обычаю Речи Посполитой, позволял себе обходиться с ним за пани-брата.

Но самым торжественным днём, в который князь являлся во всём своём величии, был день его именин, день Св. Юзефа, или Иосифа; день этот был также днём хозяйственных распоряжений, потому что тогда отдавались имения в аренду, и получались с них доходы, и все жившие во владениях князя приезжали к нему с поклоном.

Вот как проходил этот день в Ляховицах: в двенадцать часов утра князь, богато одетый, украшенный всеми своими орденами, являлся в аудиенц-залу, окружённый шамбелянами, толпою прислуги и pontificaliter, как выражались поляки, садился на кресло, обитое бархатом, украшенное золотыми галунами и стоявшее на возвышении, под богатым балдахинном. Шляхта и арендаторы, разрядившись кто как мог, собирались в это время в соседней зале и после доклада особо о каждом, они поодиночке допускались на аудиенцию к князю. Каждый из арендаторов обязан был принести следующую с него за аренду годо-

вую плату в мешке, и три раза низко поклонившись князю и поздравив его с днём ангела в самых торжественных и напыщенных выражениях, клал к подножию его седалища мешок с деньгами. Исполнивший этот обряд отходил в сторону и оставался в аудиенц-зале до тех пор, пока все не оканчивали своих поздравлений князю.

От исполнения этого обряда не была освобождена и жена князя, рождённая княжна Воронежская. По окончании поздравления князь-воевода (он был воевода новогрудский) в сопровождении всех прибывших к нему лиц отправлялся в каплицу, где торжественно с музыкой совершалась обедня, после чего он с тою же пышностью возвращался в свои покои.

Затем следовал обед. Князь, не желая стать и в этот день вровень с кем бы то ни было, уходил в кабинет, а в смежной с кабинетом огромной зале был приготовлен стол для гостей, к числу которых принадлежала и княгиня. В кабинете князь обедал один, и двери в залу были заперты; они отворялись настежь только в то время, когда приходила пора пить

за здоровье именинника. Тогда при звуках музыки, громе пушек и кликах "виват!" гости входили в кабинет воеводы и пили за его здоровье, а он сам выпивал огромный кубок в честь своих гостей. После этого гости выходили, и двери кабинета плотно запирались за ними.

После обеда князь из принесённых ему дукатов делал свитки разной величины и, окончив эту работу, выходил другими дверьми кабинета в танцевальную залу. Гости, извещённые о его выходе, отправлялись туда же, конечно, навеселе, а князь, сидя у столика, заваленного свитками червонцев, раздавал их детям, говорившим ему поздравления, а они в знак благодарности целовали его руку.

После этой раздачи начинались танцы; в них принимал участие и сам воевода, если он был в хорошем расположении духа. Вечер заключался иллюминацией и фейерверком. Разумеется, что гости исподтишка посмеивались над чудачком-хозяином, но тем не менее на каждом шагу оказывали ему глубочайшее уважение, что весьма льстило его самолюбие.

Приближаясь к старости, воевода делался страннее и страннее; часто, раздевшись до рубашки, но зато надев все свои ордена и ленты, он прохаживался в комнате, увешанной зеркалами и рассуждал сам с собою о своём величии, уме, знатности и талантах.

Часто слышали, как он разговаривал сам с собою так: "Кто я такой? князь? – князь, но этого мало! Король польский? – король польский, но и этого мало! Епископ и кардинал? – епископ и кардинал, но и этого мало! Император римский? – император римский, но и этого мало! Папа? – папа, но и этого мало, да и вообще нет такого высокого сана, который бы соответствовал моему достоинству."

Но раз случилось вот что: один из молодых прислужников князя, заметив подобные его рассуждения, забрался в камин, и когда воевода предложил себе вопрос: "Кто я?" раздался громкий и страшный голос: "Дурак, дурак и больше ничего!" Испуганный князь выскочил из замка во двор и увидев на крыше трубчиста, принял его за чёрта и закричал часовому: "Стреляй в этого чёрта, стреляй!" Часовой исполнил приказание воеводы, и несчастный

трубочист был застрелен. Тогда обрадованный князь закричал: "Пусть же и черти научатся как должно уважать меня!"

Между тем прислужник успел выскочить из комнаты и сохранял это происшествие в тайне до самой смерти князя, для которого оно было поводом к увеличению его гордости, потому что он, несмотря на свой природный ум и образование, любил говорить о том, как он за неуважение к себе велел застрелить чёрта, и чрезвычайно сердился, если кто-нибудь выражал сомнение в истине этого рассказа.

Не смотря на свои странности, Яблоновский был любим всеми за его готовность помогать бедным и за уклонение от всяких тяжб и ссор. Он умер 1 марта 1777 г. Из сочинений его некоторые были напечатаны в Лейпциге, в том числе и "L'Empire des Sarmates", заслужившее в то время похвальные отзывы, но большая часть его учёных трудов осталась в рукописях.

Охота на вепря

Длинной и широкой полосой тянулись в былое время за левым берегом Вислы к подножьям Карпат Придольские леса. Проредали они потом, но всё же и теперь ещё представляют местами густую, а иногда и непроходимую чащу. Мало в глубине этой чащи просторных тропинок, только в недалёком расстоянии от опушки леса извиваются они как змейки, то перекрециваясь, то расходясь во все стороны, то теряясь в густой траве и плотной поросли, то исчезая на выползших из земли и обнажённых корнях вековых дубов и сосен. Пуста и безмолвна эта лесная глубь, изредка разве заберётся в неё околный крестьянин для поживы хворостом, да промелькнёт среди зелени и древесных стволов охотник, отыскивая лося или берлогу залёгшего вблизи медведя.

Если бы иной мечтатель захотел летнею порою побродить в этих лесах, то наверно их тишина, их свежесть и живописная их прелесть навеяли бы на него поэтические думы и чудные грёзы; но не легко бы выбрался он из

чащи на какую-нибудь поляну, долго бы пришлось ему кружиться на одном и том же месте, и не раз попадался бы он в такую труппу, в которой, быть может, до него никогда ещё не ступала нога человека.

В ином месте, среди этих вековых лесов, медленно струящийся ручей неожиданно пересекает и без того уже трудно проходимую тропинку. За ручьём на большом пространстве тянется вязкая топь, а между тем нет ни мостика, ни жёрдочки; идти дальше нельзя; а по свежесодранной коре с близстоящего дерева видно, что ещё очень недавно посетил это затишье медведь, которого, чего доброго, снова заманит сюда чутьё лакомой добычи.

Невольно, в тяжёлом раздумье останавливается здесь прохожий и дрожащим голосом шепчет усердную молитву, а вечерняя заря быстро гаснет на верхушках деревьев и подходящие украдкой сумерки наполняют лес гущающеюся мглою. И вот в памяти одинокого прохожего оживают все страшные предания и все суеверные рассказы об этом таинственном боре. Счастлив он, если засветло успеет напасть на следы человека, который

проходил прежде него в этой пуще и был так осторожен, что войдя в неё делал топором зарубки на деревьях, чтобы потом с помощью этих меток, выбраться из незнакомой дебри.

Изредка небольшая поляна пересекает сплошную гущу леса. Пустынно, но вместе с тем весело расстилается эта поляна зелёным ковром, испещрённым дикими цветами. И почему-то становится жаль помять ногою эту густую, высокую траву и эти простенькие цветы, выросшие в таком приволье. Иногда на этой поляне виднеется хата пасечника с несколькими десятками ульев, и тогда тишина нарушается жужжаньем пчёл, которое, долетая до слуха прохожего, кажется ему то гулом неопределённых, далёких звуков, то людским беспокойным говором.

Старый пасечник давным-давно поселился в этой глуши и полюбил её так сильно, что не променял бы её ни на блестящую Варшаву, ни на шумные города Польши, ни на суетливые её местечки, в которых, с утра до поздней ночи, снуют и копошатся евреи.

Несмотря на уединённую жизнь пасечника, его хорошо знают все окольные крестьяне;

он слывёт у них за знахаря; и действительно, старику известны и вредные, и целебные силы лесных трав и кореньев; он заговаривает ужаленных змеями; он умеет за несколько дней угадать погоду и ненастье; он лечит всех и каждого от разных телесных недугов, а молодых и от сердечных зазноб. Старик твёрдо знает все извилистые тропинки леса и, как носится молва, может показать те места, где зарыты богатые клады. Но старик пасечник не говорлив, от него ничего не добьёшься.

В проредях леса виднеется иногда приземистый шалаш, который кажется служит скорее притоном дикому зверю, нежели убежищем человеку. В этом жалком шалаше поселился на летнюю пору забредший откуда-то еврей; он жжёт уголья и гонит смолу, он трудится без устали день и ночь, но недоверчивая молва отзывается о нём по-своему: одни рассказывают, что будто бы этот исхудалый бедняк оберегает несметные сокровища, запрятанные в лесу давным-давно, когда на польском престоле сидела Ядвига с Ягелло. Другие говорят, что он, забравшись в дремучий лес, подделывает монету. Бедняк знает

недобрую молву; он и сам, как кажется, не доверяет никому и с трусливым беспокойством оглядывает тех, которые проходят мимо его шалаша.

Зимой снег заносит и лесные тропинки, и поляны; тяжёлыми хлопьями ложится он на раскидистые ветви сосен. В эту пору, чарующая летняя прелесть леса заменяется печальной сонливостью; здесь нет уже душистой свежести, здесь не слышно весёлого щебетанья птиц, и не носятся рои игривых мошек; всё притихло, всё мёртво, и только иногда на белой пелене снега виднеются следы пробежавшего волка.

Эти дремучие, пустынные леса служили не раз убежищем для окрестных жителей, когда военная гроза гремела над Польшей...

Невдалеке от этих лесов, лет полтора тому назад, стоял на пригорке пышный замок воеводы Ильговского. Много видел на своём веку пан Ильговский, много повоевал он и побывал в разных землях и потом на старости лет приехал отдохнуть в своём наследственном замке, и любимой его забавой была охота в соседних, дремучих пущах.

Воевода был вдов и приближался к могиле с печальною мыслью, что со смертью его угаснет род Ильговских, так честно и доблестно служивший отчизне в течение нескольких веков.

Наступала осень, а с нею подходил и день св. Андрея, именины пана воеводы; набожный и богатый Ильговский всегда с большою торжественностью праздновал день своего патрона, а на этот раз ему почему-то хотелось отпраздновать свои именины с большею пышностью, нежели в прежние годы. К этому дню в замок воеводы должно было съехаться множество гостей из близких и далёких сторон; для них приготавливались всевозможные запасы в несметном количестве. Не говоря уже об огромных бочках прадедовского венгерского вина и столетнего мёда, в замке воеводы, для угощения приезжих, было назначено: полусотня волов, стадо баранов, двадцать лосей, десять вепрей и бесчисленное количество зайцев и рыб. Ещё за три недели до съезда гостей, все окрестные мельницы принялись махать крыльями и шуметь колёсами, заготавливая муку, а из близких прудов и даль-

них озёр таскали беспрестанно невода, наполненные множеством разных рыб. Огромные залы замка, остававшиеся обыкновенно запертыми в течение целого года, были теперь отворены, и многочисленная прислуга хлопотливо сметала пыль, покрывавшую стены этих зал и насевшую толстым слоем на богатое их убранство, а также уставляла в столовой бочки с серебряными и даже золотыми обручами, наполненные дорогим венгерским. Кравчий воеводы, занимавшийся расстановкою бочек, особенно заботился о том, чтобы они были размещены по старшинству лет налитого в них вина.

За несколько дней до св. Андрея потянулись к замку со всех сторон щёгольские колымаги и простые тележки, наполненные родственниками, друзьями и знакомыми Ильговского. Число гостей не могло затруднить воеводу, богатые поместья которого раскидывались без перерыва в длину почти на тридцать в ширину слишком на двадцать миль, и у которого в подвале замка, за железными дверями и крепкими запорами, стояли бочонки серебра и золота.

Воевода, как мы сказали, был бездетен, и потому множество близких и дальних родных, и с отцовской, и с материнской, и даже с жениной стороны, с нетерпением выжидало кому-то он откажет своё громадное богатство. Все родственники наперерыв один перед другим увивались около старика, и каждый из них, рассчитывая быть единственным наследником, не без злобы посматривал на своих соперников.

Но кроме родственников, пан-воевода был окружён ещё толпой чужой ему молодёжи из шляхты; не одного уже гольша-шляхтича вывел он в люди или наделил достатком, за то, что тот служил ему верой и правдой и отличался удалью и отвагой. Но никто однако из всей молодёжи, жившей в замке богатого пана, не пользовался в такой степени его любовью, как пользовался ею пан Яцек Илинич, статный и красивый юноша. Для него было пустяки – вскочить на степного, неукротимого скакуна, и через несколько времени обратиться в трусливого барана; не стоило ему большего усилия вышибить из седла одним ударом своего противника; он считал забавой

встречу с неприятелем втрое сильнейшим. Но не одной только удачью отличался пан Яцек, он и в мазурке был первый, и все заглядывались на него, когда он пускался в пляс, подхватив пригожую паненку.

Старик Илинич владел в соседстве с воеводой маленькой наследственной деревней. Когда Яцек подрос, Илинич привёл сына в замок Ильговского и, поклонившись старосте, сказал:

– Отдаю вашей вельможной милости моего сына, он у меня один только и есть. Малый он расторопный и не заставит краснеть за себя своего отца; но я человек небогатый, так пусть мой сын послужит ясновельможному пану и научится в его доме, как быть угодным Господу Богу и людям.

Молодой Илинич исполнил волю отца. Он верно служил своему покровителю, и пан-воевода полюбил его, как сына; окольная молодёжь признавала превосходство Илинича и льнула к нему со всех сторон, а старики, поглядывая на Яцека, нередко говаривали между собою: "Что если бы таких молодцов было у нас побольше?" Девушкам крепко нра-

вился Яцек и, бывало, только лишь он замолвит с одной из них словечко или ловко прислужится, как она вся зардеет и сама не знает что и как отвечать ему.

Только родственники воеводы косо поглядывали на его любимца и Бог весть что толковали о нём за глаза; но так как он вежливо обходился с ними, не хвастаясь перед ними особенным расположением к себе магната, то и они смягчались, спрашивая самих себя: "да за что нам сердиться на этого молодого человека?" И только мысль о том, что Илинич может быть их соперником по наследству, снова заставляла их хмурить лбы и почёсывать затылки.

Старик Ильговский до такой степени привязался к молодому Илиничу, что при нём одним веселел, смеялся и шутил, а без него большею частью был ворчлив и пасмурен. Иной, пожалуй, на месте Илинича, пользуясь таким удобным случаем, поворотил бы, – как говорят поляки, – воду к своей мельнице; но не такого десятка был Яцек. У него было одно желание – угодить своему покровителю, да полюбить от всей души какую-нибудь хоро-

шенькую соседку, жениться на ней, вскормить деток, пожить, сколько приведёт Господь Бог, и потом улечься с миром на родном кладбище, под высоким крестом и тенистой осокорью.

Из числа гостей, прежде всех приехавших на именины воеводы и желавших ранним приездом выразить ему особенное уважение, были два брата каштеляничы [1], Пешковские, и Ян Кмита, сын воеводы. Все они приходились Ильговскому не слишком далёкими родственниками. Они-то, как ходила молва в околотке, и старались больше всех о том, как бы каждому из них захватить в одиночку всё богатство Ильговского или, по крайней мере, только между собою поделить после него наследство, отстранив прочих соперников. Впрочем, не об одном этом думал Ян Кмита; он рассчитывал и на то ещё, что ему удастся понравиться восемнадцатилетней черноокой Ванде, дочери и богатой наследнице подкомория [2] Дембинского, одного из ближайших соседей воеводы.

– Недолго ждать, – думал Кмита, – по всей вероятности воевода скоро отправится на тот

свет... Я сделаюсь богатым паном, посватаюсь к Ванде, а Илиничу скажу, без дальних околичностей: подальше отсюда, любезный, ищи себе невесты попроще; а на магнатскую дочь не заглядывайся!..

Ярко и безоблачно садилось солнце, обливая золотисто-багряным светом башни Придольского замка и предвещая на завтра хорошую погоду. Двор замка наполнялся всё более и более колымагами, так как гости беспрерывно съезжались к будущему имениннику. Хозяин стоял на пороге своего жилища и приветливо встречал приезжавших. Вот наконец в раззолоченной и обитой бархатом колымаге подкатил к крыльцу замка и пан-подкоморий Дембинский с своей дочерью, Вандой. Поцеловав в лоб воеводу, Ванда украдкой пробежала своими чёрными глазками по толпе молодёжи, окружавшей хозяина замка, но среди толпы не было того, кого она искала. Ванда заметно взгрустнула и призадумалась.

В это время на дворе замка слышались звуки охотничьих рогов. Обширные залы замка опустели в одно мгновение, все кинулись в

дверь, чтобы взглянуть на охотников, въезжавших в ворота замка. Впереди охотников ехал молодой Илинич на отличном гнедом коне, который фыркал и извивался под лихим наездником. Илинич был одет в зелёный чекмень, через плечо висел у него медный рог и барсучья торба, с разными принадлежностями для охоты. Винтовка была приторочена к седлу, а рядом с нею висел в кожаных ножнах большой охотничий кинжал.

Ильговский поспешил на встречу в Илиничу, который, в нескольких шагах от воеводы удержав коня, проворно соскочил с седла, отдал поводья конюху и сняв шапку поклонился хозяину и всем гостям. Потом быстро взглянул он на крыльцо, где стояли дамы и девицы и где он ожидал увидеть Ванду. Илинич не ошибся, и влюблённые поменялись друг с другом такими взглядами, которые были понятны ей и ему.

– Ну что же, Яцек, как ты сегодня охотился? – спросил, входя на крыльцо замка, воевода Илинича, который почтительно следовал за ним.

– Не хорошо, очень не хорошо, – грустно

отвечал Илинич, – вепрь ушёл из наших рук, а что ещё хуже, он сильно изуродовал старика Бартоша и положил на месте четырёх гончих.

– Видно он хочет, чтоб я сам на старости лет пошёл против него? – проговорил Ильговский, и при воспоминании о былой удали ярко блеснули под седыми бровями большие, тёмно-серые глаза Ильговского, которые он пристально упёр в лицо Илиничу. Молодой человек в сильном смущении опустил свой взгляд, точно стыдясь какого-то непохвально-го поступка. – В моё время, продолжал старик, – высмеяли бы таких охотников, у которых из-под носу убегают вепри; право, им не дали бы нигде проходу.

Илинич растерялся в конец, но потом, оправившись немного, сказал твёрдым голосом:

– Правда ваша, ясновельможный; хоть я сегодня и удачно поохотился на оленей и зайцев, но жалею, что мне не пришлось положить к ногам вашей милости вепря; надеюсь однако, что если встречу его завтра, то он уже не уйдёт от меня...

– Ты мне это повторяешь, мой любезный, каждый день, – проговорил воевода, – а не забудь, однако, что через два дня будут мои именины. Приедет ко мне мой старый приятель, каштелян Завиходский, да и спросит: "Ну, приятель, а где же вепрь?" Ведь стыдно будет и тебе, и мне; право, нам обоим будет стыдно, да ещё как! Ей, господа! – кликнул громко пан Ильговский, – объявляю вам, что тот из вас, кто завтра убьёт в Придольской пуще вепря, будет наследником всего моего имения.

Шёпот изумления пробежал в толпе молодёжи, и многие из среды их как-то недоверчиво посмотрели на воеводу.

– Я говорю, – начал ещё громче староста, – что тот из вас, кто убьёт завтра вепря, будет наследником всего моего имения, и кроме того... – добавил пан Ильговский, взглянув пристально на Ванду.

Щёчки Ванды вспыхнули ярким румянцем, а молодой Илинич посмотрел на девушку так, как будто хотел сказать ей:

– Я знаю, Вандочка, о чём идёт дело; не бойся, никому не уступлю тебя.

Никто однако не ответил на вызов магната. Быть может, в толпе молодёжи и не было трусов, но никто не решался похвастаться заранее, что пойдёт на такое предприятие, которое большею частью оканчивалось смертью удальца, так как, при несовершенстве огнестрельного оружия, в ту пору легко было промахнуться по вепрю или только ранить расsvирепевшее животное, с которым после неудачного выстрела приходилось бороться в плотную.

– Что вы, господа, – заговорил с усмешкою воевода, – разве нет теперь в Польше таких молодцов, которые пошли бы на вепря даже так себе, из одной только охоты и без предложенной мною награды?

Молчание продолжалось, никто не хотел быть выскочкой.

– Что же, господа, вы молчите? – спросил пан Ильговский. – Кто же отправится завтра на вепря?

– Я!.. – резко проговорил пан Кмита, выступая вперёд.

– Мы!.. – закричали в один голос братья Пешковские.

– Я! Я! Я! – раздавалось отовсюду.

Кто бы в то время взглянул на Ванду, тот заметил бы её печаль и смущение. Опустив голову и свесив вниз на шёлковую ткань своего платья сложенные ручки, она стояла неподвижно, ожидая услышать голос Илинича; но Илинич стоял молча, скрестив на груди руки и думая о том, что кстати ли будет отнимать у других то имение, которое ему не принадлежит, и при том за такое дело, на какое он отважился бы и без всякой награды. Но вот он вспомнил недоговорённые слова воеводы и пристальный взгляд Ильговского на молодую девушку. Воспоминание это задело за живое Илинича, который теперь в душе боролся с самим собою.

– Что же ты, мой любезный Яцек, ничего не говоришь? – спросил воевода, подойдя к Илиничу и дружески положив руку на его богатырское плечо.

– Я не пойду завтра на охоту, – проговорил не совсем внятно Илинич.

– Это почему?.. – вскрикнул изумлённый старик, отскочив на несколько шагов от Илинича.

– Потому что там будет идти дело не о доставлении тебе удовольствия, а о наследстве после вашей милости.

– Ну, не сердись, – сказал улыбаясь Ильговский, – если б я знал, что ты так обидчиво примешь моё предложение, то я лучше бы согласился отказаться от вепря.

– Но мы без тебя не пойдём на охоту! – отозвалось вдруг несколько голосов из толпы молодёжи, любившей Илинича.

– Тебе, пан Илинич, – вмешался отец Ванды, – не следует отказываться от предложения пана-воеводы.

Яцек ещё колебался и украдкой посматривал в ту сторону, где стояла Ванда; её чёрные глаза были устремлены теперь на Илинича, она, казалось, просила его не отказываться от участия в охоте.

– Видит Бог, – проговорил с жаром Илинич, обращаясь к Ильговскому, – что я не хочу домогаться твоего богатого наследства; и если завтра пойду на охоту, то потому только, что это угодно твоей милости!

Стоявший сзади Илинича пан Кмита насупил брови и сильно дёрнул за руку своего со-

перника.

– Кто тебе позволяет оскорблять нас? – высокомерно сказал пан Кмита, – не забывай, любезный, что в числе нас есть близкие родственники его милости, пана воеводы; а ты ему что?..

– Я не оскорбляю никого, – твёрдо, но не грубо отозвался Илинич, – а до родственников пана-воеводы мне нет никакого дела; если же тебя оскорбили мои слова, то моя сабля даст тебе удовлетворение.

Пан Кмита побледнел и с заметной злобой, крутя свой ус, готовился отвечать что-то Илиничу.

– Полноте, полноте, господа! – примиряющим голосом заговорил пан Ильговский, становясь между соперниками, – поберегите вашу храбрость на завтра, а теперь возьмёмся лучше за кубки и выпьем за успех завтрашней охоты. А ты, Яцек, – добавил воевода, обращаясь к Илиничу, – прикажи, чтоб к утру всё было готово, как следует. Посмотрите-ка, господа, как великолепно село солнце, нет ни облачка; пожалуй ночью будут заморозки, охота будет славная, такая что и мы, старики,

не усидим дома за печкой... Да быть может, и мои дорогие гости захотят посмотреть нашу охоту, – добавил Ильговский, обращаясь к дамам, – статья может, что они пожелают поздравить того, кто останется победителем. Не так ли, милостивые пани?

– Хорошо, очень хорошо, мы согласны завтра ехать на охоту, – заговорили в один голос все гости.

Молчала одна только Ванда.

– Вели же, Яцек, приготовить к завтрашнему дню шатры на Волчьей Горе, – сказал пан-воевода Илиничу, – с этой горы, я думаю, всё будет видно, если только нам удастся выгнать вепря из чащи. Впрочем ты сам умеешь отлично распорядиться, не тебя мне учить. Нужно только подумать о том, чтобы наши гости встали завтра раньше солнышка и птичек. Теперь прикажи, пан-маршалок [3], – добавил Ильговский, обращаясь к одному из окружавших шляхтичей, – протрубить сбор.

По знаку, данному маршалком, загревели трубы. Хозяин предложил свою руку гостье, старейшей и по летам, и по званию, каждый из гостей последовал его примеру, взял под

руку даму и попарно за хозяином пошли в столовую.

Нечего, кажется, и говорить, что в одной из пар были Ванда и Илинич.

– Желая тебе успешно охотиться завтрашний день, – с волнением прошептала девушка, склоняясь несколько к плечу Илинича.

– О, я и сам желал бы этого, – отозвался с глубоким вздохом Яцек.

– Я предчувствую, что охота тебе удастся; я буду молиться Богородице, чтобы она помогла тебе, – тише прежнего пролепетала Ванда.

Звуки труб и литавр, раздавшиеся в это время с таким громом, что, казалось, от них дрожали стены замка, заглушили ответ Илинича, который слегка пожал руку молодой девушки.

Гости вошли в столовую. Стены этой залы и полукруглый свод её потолка были сероватого цвета. На стенах было развешано дорогое оружие и разные охотничьи принадлежности, вперемешку с оленьими и буйволовыми рогами, а также портретами давних владельцев Придольского замка и гербами как их фа-

милиии, так и тех фамилий, которые были с ними в родстве. В простенках же между окон и по бокам дверей были сделаны дубовые полки, уставленные грудями серебряной и золотой посуды.

Гости уселись по старшинству кругом столов, загромождённых разными кушаньями. Начался продолжительный ужин и после десятого блюда пошёл ходить между гостями круговой кубок; при питье из этого кубка начались громкие виваты в честь гостей и хозяйина, а среди виватов слышались поцелуи, шутки, остроты и разные пожелания. По всему замку разносились весёлые клики, смех и говор, и долго бы ещё продолжался пир, если бы заботливый хозяин не напомнил гостям, что завтра ещё до рассвета они должны будут отправиться на охоту.

Предсказание старобыты насчёт погоды сбылось как нельзя лучше: золотистые лучи утренней зари быстро разгоняли ночную мглу, и поредевший туман белыми клубами расстилался по земле, обещаая прекрасную погоду. Заря гасла, между тем дневной свет при-

ливал всё сильнее и сильнее, и казалось, что вот сейчас из-за ближнего леса выйдет солнышко во всём своём величии и утреннем блеске; однако обитатели замка предупредили его ранний восход.

Едва только начал редеть ночной мрак, как в замке пана Ильговского все захлопотали и засуетились, шум и беготня усиливались всё более и более, и вскоре двор замка начал походить на ярмарочную площадь, — на нём кишела пёстрая толпа; в этой толпе стрелки, сотворив крёстное знамение, осматривали свои винтовки, желая увериться, не заговорил ли их какой-нибудь колдун; псары между тем вязали на своры гончих, которые громким лаем выражали свою радость и нетерпение. Доезжачие подучивались трубить в рога, а конюхи выводили из конюшен или держали под уздцы коней, которые ржали, становились на дыбы и выбивали копытами глыбы земли, слегка охваченной утренними заморозками. Несколько далее на том же дворе нагружали возы кушаньями, напитками и котлами, а также приготавливали колымаги, в которых должны были отправиться на охоту

молодые и старые гости, выглядывавшие теперь из окон замка на всю эту суетню. По огромным запасам съестного и питья, нагружаемым на возы, можно было подумать, что хозяин и его гости выбирались из замка на такую охоту, которая должна была продлиться целый год.

Когда всё было готово, Илинич, в своём зелёном чекмене, опушённом лисицей, ловко вскочил на лихого, гнедого коня. Вокруг Илинича столпились конные и пешие охотники; а гости разместились по колымагам.

Прежде отбытия самой охоты тронулся со двора замка обоз, псы нетерпеливо завыли, кони рвались вслед за обозом, но седоки сдерживали их, так как, по обычаю того времени, охотники и гости не могли тронуться с места до тех пор, пока старший летами охотник не затрубит в рог. Все с нетерпением ожидали этого знака, и едва только выглянуло из-за леса яркое осеннее солнце, как восьмидесятилетний каштелян Завиходский, ещё бодро сидевший на турецком коне, громко затрубил в серебряный рог, и при последнем звуке этого сигнала двинулись за ворота замка охотники

и поезжане.

В Придольских лесах, с которыми мы уже познакомили наших читателей, поднимались в это время с своего ночлега встрепенувшиеся птицы, встречая громкими криками пробудившее их солнце; им вторила переключка поселян, обходивших облавою часть бора и приближавшихся к его опушке.

На Волчьей Горе, которая отделялась от леса оврагом, поросшим мелким кустарником, были разбиты шатры для дам и хилых стариков. Вблизи шатров пылал огромный костёр, около которого шла деятельная стряпня.

Звуки рогов, крики охотников, шум колымаг, лай собак и ржание коней сливались в какой-то неопределённый гул, с которым приближалась охота на назначенное ей место. Пан Илинич, ехавший впереди охоты, заменяя хозяина, провожал гостей до шатров, и когда все разместились, то он во весь опор поскакал к опушке леса. Там он разведал у лесничих о вепре и напомнил столпившимся около него охотникам о стыде, который ожидает их, если они станут стрелять не по веп-

рю, а по недоросшим вепрятам или оленям. После этого он стал распоряжаться всеми подробностями охоты.

По данному Илиничем знаку вытянулся ряд доезжачих; один из них имел небольшой барабан, другой трещотку, третий булаву, увешанную бубенчиками. Все доезжачие были на лихих конях, которыми славились на всю Польшу воеводские конюшни, и сами смотрели молодцами. Подле доезжачих расположились псары со сворами, и когда Илинич махнул рукою, то все они кинулись в лес по заранее условленным дорожкам, чтобы окружить логовище вепря. Между тем Илинич, сойдя с коня, перебегал от одного охотника к другому и осматривал их винтовки; он осведомлялся, хорошо ли они вычищены, не слабы ли курки, надёжно ли отточены кремни. Илинич спросил также всех охотников по очереди о том, есть ли у них в готовности запасные заряды. Покончив осмотр и расспрос, он громко крикнул:

– Благородные пань! Вот места для стойки охотников. Пусть выбирает себе каждый из вас, какое ему угодно место; но только прошу

вас поторопиться, потому пора подать сигнал к травле.

Тут между охотниками началось движение; поднялись было споры и говор. Однако дело скоро уладилось, и спустя несколько времени все охотники были уже на местах. Не без волнения каждый занимал своё место, на котором мог или получить огромное богатство, или попасть на клык вепря. Случайно самому Илиничу пришлось стать около пана Кмита. С заметным спокойствием Яцек занял своё место и протрубил сигнал для начала охоты.

В лесу послышался тревожный лай гончих псов, облавщики приготовили рогатины, и все пришли ещё в большее движение, когда невдалеке от опушки леса увидели землю, взрытую клыком вепря. Казалось, что место это было глубоко перепахано сохою.

Между тем лай гончих продолжался; он то отдалялся от охотников, то приближался к ним; но вдруг стаи гончих залились каким-то злобным воем; охотники встрепенулись, в лесу послышался шум и треск от ломки деревьев. Псы завидели вепря и наскочили на

него, но тут же раздался жалобный их визг: потому что несколько гончих было поднято на клык вепря.

– Смотрите! смотрите! Не зевайте! – раздавалось по цепи охотников, и один из них хватался торопливо за винтовку, а другой за кинжал, готовясь встретить разъярённого зверя.

Пан Кмита был взволнован сильнее всех; он как будто растерялся; из-под шапки, крепко надвинутой на брови, выступал крупными каплями холодный пот. В это время из чащи леса бежал рассвирепевший вепрь, за ним в погоню неслась стая гончих псов, которых он по временам размётывал клыками во все стороны, очищая себе дорогу.

У всех охотников дрогнуло сердце. Один Илинич стоял спокойно, опёршись на винтовку и ожидая, где появится вепрь, который на несколько мгновений скрылся в кустах оврага.

Но вот вблизи Илинича послышался треск и хруст ломающихся ветвей и вепрь, величинею с годовалого телёнка, с пеною на морде, с прокусанными во многих местах боками, облитыми кровью, очутился вблизи Илинича и

его соседа Кмита. Ощетинившееся животное пускало из ноздрей клубы пара и мчалось вперёд во всю прыть.

Пан Кмита приложил винтовку к дрожавшему плечу и нетвёрдою рукою спустил курок, — выстрел раздался; но пан Кмита промахнулся и вепрь с яростью бросился на него. Выхватив из-за пояса охотничий нож, Кмита хотел было дать отпор вепрю, но поскользнулся немного и, растерявшись от этого в конец, пустился бежать. Зверь кинулся за ним в погоню, а между тем стрелять никто не решался, опасаясь попасть вместо зверя в охотника. Поднялась страшная сумятица; вепрь уже нагонял Кмиту, который, к довершению бедствия, споткнулся и упал. Все обмерли от ужаса, предвидя страшный конец охоты.

Но в это время метким глазом и твёрдою рукою прицелился в вепря Илинич, и горсть рубленных пуль пронизала левый бок вепря. Бешеный зверь оставил Кмиту и быстро бросился на Илинича, который сделал ловкое движение в сторону, успел, с кинжалом в руке, вскочить на хребет зверя и, нанеся ему между лопаток сильный удар кинжалом, вса-

дил лезвие по самую рукоятку. Вепрь дико взвыл, зашатался и покатился на бок, а подоспевшие гончие накинулись на него с ожесточением. Раненный вепрь упорно отбивался от них, но Илинич подскочил снова к озлобленному животному и другим ударом кинжала покончил его.

На Волчьей Горе загремели трубы и литавры, и в честь победителя отовсюду раздались громкие одобрения. Илинич, вынув из ножен саблю, отсёк у вепря оба клыка и понёс их пану Ильговскому. Торжественно шёл теперь Илинич, окружённый толпою охотников, дивившихся его отваге.

При приближении Яцека к шатрам снова ударили в литавры, и пан воевода поднял одною рукою золотой кубок, наполненный венгерским, а другою обнял Илинича и громко крикнул:

– Виват, пан Яцек Илинич, наследник моего имения!

– Виват! виват! – раздалось со всех сторон.

Среди этих кликов, воевода осушил кубок до последней капли и, приказав слуге наполнить его снова, передал кубок подкоморию,

отцу Ванды, которая, не успокоясь ещё от волнения, тревожно посматривала то на отца, то на Илинича.

– Да помогает Господь Бог отважному юноше всегда и везде! – с чувством произнёс пан Дембинский, – нам нужно таких молодцов, которые смело шли бы и в огонь, и в воду.

С этими словами, поклонясь Илиничу, Дембинский выпил кубок за его здоровье до самого дна; и затем кубок стал ходить кругом, посреди громких возгласов, в честь смелого Яцека. Когда же окончились эти тосты, то воевода взял под руку молодого охотника и, подведя его к скамьям, на которых сидели гости, сказал:

– А что, вельможные пани, разве мой Яцек не молодец?

Дамы и девицы спешили на перерыв выразить своё удивление той смелости, с которой Илинич напал на свирепого зверя.

Ванда не утерпела, как птичка вспорхнула она с своего места и с покрасневшимся лицом кинулась к Илиничу.

– О как я боялась за твою жизнь! – прошептала Ванда прерывающимся от волнения го-

лосом. – Прошу тебя, не ходи другой раз на такую опасность, – добавила она, складывая на груди руки и смотря умоляющим взглядом на молодого человека.

Илинич, вместо ответа, стал на одно колено перед девушкой и поцеловал её руку.

Весёлый говор пробежал среди всех свидетелей этих изъявлений юношеской любви, так неожиданно вырвавшейся наружу.

– Ого! – радостно воскликнул воевода, – да как видно, они любят друг друга!

– Разумеется, разумеется!.. Это ясно, как Божий день! – заговорили молодые пани, издавшие сами на опыте что значит пылкая любовь.

– Ну, и прекрасно, чего ж более?.. Послушай, пан Дембинский, – продолжал живо воевода, – посмотри-ка на нашу молодёжь, ведь по глазам видно, что они любят друг друга! Да как ещё любят!

Ванда, поникнув головкой, стояла на одном месте, не выдёргивая своей белой ручки из руки Илинича.

– А что, ведь сегодняшнюю охоту можно закончить свадьбой! – весело крикнул воево-

да.

Ванда и Яцек вздрогнули.

– Илинич был бедный шляхтич, – продолжал Ильговский, – но теперь он богатый пан, потому что моё благородное слово...

– Нерушимо, – подсказал твёрдым голосом подкоморий, – что ж, и прекрасно!

Гости и подоспевшие к этому времени с разных сторон охотники плотной толпой окружили воеводу, подкомория и помолвленных.

– Прошу слушать что я расскажу вам, – начал воевода. – Лет пятьдесят тому назад, когда я и подкоморий были ещё молоды и когда в жилах у нас кипела горячая кровь, мы среди жестокой сечи дали взаимное обещание породниться друг с другом в будущих наших детях. Причина для этого была весьма важная, потому что, если бы не сабля пана Дембинского, то я погиб бы под татарскими ятаганами, но если бы потом не рука пана Ильговского, то не вернулся бы домой пан Дембинский. Просто-напросто – мы спасли друг друга...

Пан подкоморий исполнил своё обещание, – посмотрите какая у него красави-

ца-дочь! Но я обманул его ожидания, у меня нет сына. Погоревав об этом, мы старики положили между собою, что тот, кто будет сделан наследником моего имени, будет вместе с тем и наследником нашего обещания; потому теперь и наше обещание досталось пану Илиничу... Слышишь ли ты, любезный мой Яцек, что ты наследник всего моего достояния? Попроси же теперь пана подкомория, сам знаешь, о чём...

– Я уже дал своё согласие, – подхватил пан Дембинский, – и да благословит вас Господь Бог, мои детки! Подойдите ко мне!..

Ванда со слезами радости на глазах кинулась целовать отца, а Илинич посменно душил в своих крепких объятиях то воеводу, то подкомория.

Пан Дембинский соединил руки невесты и жениха, который после этого, следуя старопольскому обычаю, поклонился в ноги своему будущему тестю.

Излишним кажется говорить, что опять, в честь молодых, начали наполнять и осушать задравные кубки при громе труб, литавр, охотничьих рогов и беспрестанных восклица-

ниях: "виват! виват!" Пир продолжался до поздних сумерек.

Вскоре после этой неожиданной помолвки спохватились пана Кмита, его искали всюду, но он пропал без вести. Рассказывали только, что в то время, когда Илинич кинулся на вепря, Кмита приподнялся с земли и опрометью побежал в кусты по скату глубокого оврага. Однако самые тщательные поиски, произведённые в этом месте, не открыли следов исчезнувшего пана Кмиты. Поговорили об этом происшествии в замке пана Ильговского и во всём околотке, а потом, как водится, позабыли о пропавшем.

Общее мнение было то, что пан Кмита, пристыженный и в любви, и в охоте, и в наследстве, забрался, по всей вероятности, куда-нибудь на Украину, с тем, чтобы в схватках с крымцами позабыть своё горе и, составив себе имя отважного воина, тем самым загладить свою прежнюю оплошность.

Добавим к этому, что охота весело возвратилась в замок воеводы. На возвратном пути Илинич ехал верхом около колымаги, в которой сидела Ванда, слушавшая с улыбкой ра-

достные речи своего суженого.

За поездом везли на телеге убитого вепря. Возвращавшуюся домой охоту замыкал конь пана Кмиты. Он шёл порожняком позади всех, печально опустив свою голову...

Покинутый замок

В Придольском замке делались большие приготовления к свадьбе Яцека с Вандою. Свадьба была назначена на весну. Весело и широко жил теперь пан-воевода, гости у него были безвыездно. Пирьы не прекращались. Но среди шумного веселья воевода становился вдруг печален и сумрачен, часто он что-то шептал, крутя в тяжёлом раздумье свой седой ус. Молиться он стал ещё усерднее, а каждую среду, пятницу и субботу лежал по несколько часов крестом на полу посреди своей каплицы. Домашние и знакомые думали, что воевода оплакивает под старость грехи и заблуждения своей молодости, как это очень часто дельвали его современники. Ходил даже в околотке слух, будто бы воевода, отпраздновав свадьбу Илинича и передав ему всё своё имение, намерен уйти на покаяние в монастырь. Говорили также, что он назначил несколько тысяч дукатов на постройку обширного монастыря во имя св. Андрея, своего патрона, и добавляли даже, что он будто бы выбрал уже место для этой постройки в глуши придоль-

ских лесов, недалеко от другого своего замка, называвшегося Ильговым.

Странное дело вышло в этом замке: из него вдруг, по приказанию воеводы, выехала вся прислуга, а между тем в этот замок стал ездить иногда он сам в сопровождении своего духовника и самого доверенного при нём человека – старика управляющего.

Всех чрезвычайно занимала эта таинственность, но никто однако не решался спросить воеводу о причинах его печали и его поездок в покинутый замок. Разведывать же об этом стороной было и неудобно, и бесполезно, так как никто не мог сказать ничего определённого. Вскоре распространилась молва, что в родовом замке воеводы поселилась нечистая сила. Рассказывали, что в глухую полночь окна замка горели иногда таким ярким светом, как будто там шли какие-то пиры, и что в это время на далёкое расстояние неслись из замка шум, стук, крик, хлопанье в ладоши и какой-то нечеловеческий хохот, которому злобно вторили в чаще леса. Говорили также, что в замке являлись разные недобрые предзнаменования и что

между прочим, в одной из его зал, нашли пустой новый гроб, приходившийся как раз по росту воеводы, и что на дощечке, привешенной к гробу, было написано: гроб назначается для раба Божия Андрея.

В ту отдалённую от нас пору, суеверие и предрассудки были ещё в силе во всей Европе, и потому нет ничего удивительного, что подобные явления впечатлительно подействовали на воеводу, который хотя и был бесстрашен в виду всевозможных опасностей и даже явной смерти на поле битвы, но за всем тем крепко побаивался дьявольской силы и разных бесовских наваждений. Воевода заметно осунулся. Часто, отчитав молитвы и Спасителю, и Богородице, и первенствующим святым, а также прославословив не раз Святого Духа, старик начинал мысленно перебирать в подробностях свою жизнь и заботливо отыскивать в ней следы прегрешений.

Конечно, и у воеводы, как и у каждого доброго христианина, находились кое-какие грехи. Не говоря уже о некоторых грешках, свойственных вообще шаловливой юности, оказывалось, что воевода раза два дерзнул ус-

мниться в правосудии и благости Божией, что он однажды посмеялся над тучным монахом, что он как-то неохотно оказал помощь ближнему, что увидев в костёле образ какой-то великомученицы, он нашёл, что лик её похож на личико одной прехорошенькой пани, на которую не без биения сердца заглядывался молодой в ту пору Ильговский. Припоминая свои старые грехи, воевода находил однако, что все они давно уже искуплены или чистосердечным покаянием, или милостынею, или щедрым вкладом в монастырскую и церковную казну, или учащённым чтением молитв и канонов, или выкупом христиан из басурманского плена. Заботливый воевода не упускал при этом из виду и того ещё обстоятельства, что слишком важные грехи, особенно по части телесного вожделения, были искуплены его спиною и боками под ударами ремённой плети, которою в то время бичевали себя истинно кающиеся грешники... Короче, при самом строгом расчёте с совестью, воевода, по крайнему своему разумению и по рассуждению его духовного отца, не находил в своей жизни ни одного столь важного прегреше-

ния, которое вызывало бы на него кару Божию с такими страшными предзнаменованиями, какие стали теперь являться в Ильгове.

Не чувствуя собственно за самим собою чрезвычайной вины пред Господом, набожный воевода обращался в деяниях своих предков и полагал, что он, как последний в роду, должен был, по всей вероятности, искупить какие-нибудь тяжкие грехи прародителей. Надобно сказать, что между разными поверьями у польской шляхты было сознание, что если родовитый шляхтич пользовался особым почётом и выгодами за доблестные деяния предков, то он вместе с этим не должен был забывать и того, что иногда за самые отдалённые грехи его прародителей он, без собственной вины, мог быть наказан десницею Божию.

Воевода тщательно перебирал все фамильные предания, и в крайней своей скорби находил, что в длинном ряду предков были и такие, которые своим жестокосердием действительно могли накликать кару Господню на последнего представителя их имени.

Пан Ильговский тосковал и молился, а

между темь приготовления к свадьбе его наследника шли своим чередом.

Молва о ночных ужасах, происходивших в Ильгове, увеличивалась всё более и более, и наконец с достоверностью стали рассказывать, что там дело дошло уже до того, что, как-то в полночь, одного старого слугу воеводы, решившегося переночевать в конюшне, схватили страшные черти, подняли на вилы и затащили в лесную глушь, где и посадили чуть ли не на самую верхушку огромной сосны.

Настал Духов день; в этот праздник ведётся в Польше, как и у нас русских, обычай ставить около жилищ молоденькие берёзки. В ту пору, о которой идёт речь в нашем рассказе, этот обычай соблюдался весьма строго, и потому в Духов день, как в богатых замках, так и в убогих лачугах все пороги и стены были обставлены молодыми берёзками, а ветки их висели на потолках; полы всюду были устланы травой, за иконы были заткнуты пучки душистых растений; рога у коров и баранов были обвиты зеленью, а у коней, шедших в

этот день в упряжке, были вплетены в гриву цветы и зелень. Всё казалось садом или лесом, так что поляки не даром называют этот день "Зелёным праздником".

Весь Придольский замок был покрыт снаружи свежей зеленью, а комнаты замка были наполнены запахом душистых трав. Сюда съехалось к этому дню множество гостей; всё было шумно и весело; но не так выглядывал в этот день другой, покинутый всеми замок воеводы. Он стоял пуст и мрачен, яркая весенняя зелень не украшала его стен и башен; замок смотрел вовсе не празднично, а окружавший его сосновый дремучий бор придавал этой почернелой громаде какой-то особенный, печальный вид.

Гости, смотря на воеводу, старавшегося как будто насильно быть весёлым, перешёптывались втихомолку о том, что делалось в Ильгове, и по временам вполголоса толковали между собою о конфедерации, составлявшейся в то время против короля. Некоторые из гостей уверяли, что главным местом сбора для конфедератов были назначены леса, окружавшие Ильговский замок, и заявляли догадку, что по

всей вероятности воевода ездит теперь туда но этому делу. Все желали знать, действительно ли пристанет в противникам короля такой богатый и знатный магнат, каким был Ильговский, но так как на первых порах конфедерация составлялась втайне, то никто не решался заговорить об этом с воеводой, а между тем его задумчивый и беспокойный вид ясно показывал, что воевода слишком озабочен какою-то думою.

Несмотря на это обстоятельство, праздник шёл очень шумно. На дворе замка молодёжь устроила скачки. Всадники, носясь во всю прыть на лихих конях, снимали саблями кольца, развешенные на столбах, и рубили на всём скаку татарские головы, сделанные из дерева. Гости между тем смотрели с крыльца на эту забаву. Вечером начались танцы. Илинич первенствовал во всём; никто из гостей не снял столько колец и не съёл столько голов, сколько он; никто из гостей с такой ловкостью и с таким увлечением не плясал мазурки, как он, в особенности когда становился в круг с своей стройной и хорошенькой невестой.

Косо однако смотрели на него братья Пешковские, приятели пропавшего папа Кмиты, обманувшиеся в надеждах на счёт воеводского наследства, перешедшего к Илиничу. Цельный день они старались превзойти его в рыцарских забавах, но им не удавалось это, потому что Яцек постоянно брал над ними верх. Во время танцев они подсмеивались над женихом и очень часто, отходя в угол залы, шептались о чём-то с худо скрытою злобою.

За ужином они как будто нарочно повели речь об Ильгове, и говоря о происходивших там диковинках, стали утверждать, что без сомнения между присутствующими не найдётся никого, кто бы отважился переночевать в страшном замке.

– Я думаю, – добавил один из братьев Пешковских, – что даже у храбрейшего между нами, у пана Илинича, не достанет на это храбрости.

– Разве дело пойдёт о другом каком-нибудь наследстве?.. – колко заметил один из недоброжелателей Илинича.

Между гостями начались споры; одни утверждали, что храбрость Илинича не знает

границ, другие же, напротив, подзадоривали молодого человека, замечая, что храбрость храбрости рознь, и что в одном случае можно быть храбрецом, а в другом трусом.

– Это правда, – подхватил Викентий Пешковский, – я, например, вполне уверен, что пан Илинич, если я оскорблю его, непременно вызовет меня на поединок, но я знаю также очень хорошо, что он не пойдёт ночевать в Ильговский замок.

Илинич не мог долее выдержать этих подстреканий и колкостей, тем более, что он догадывался из-за чего шло всё дело.

– Я согласен переночевать в замке, – сказал Илинич, – но с тем однако условием, что если я исполню это, то пан Викентий с своей стороны должен будет отлаять под столом свои речи. Если он согласен на это, то пусть протянет мне руку.

– Согласен, – проговорил решительным голосом Пешковский, подавая Илиничу руку.

Чтоб объяснить предложение Илинича насчёт отлаивания, надобно сказать, что в старинной Польше вёлся такой обычай: тот, кто признан был клеветником, должен был, для

удовлетворения оскорблённого, подлезть под стол и оттуда при свидетелях три раза пролаять по собачьему. Смысл такого удовлетворения очень ясен: принуждённый таким образом удовлетворить своего противника терял уже навсегда доброе имя.

– Остановитесь господа, – сказал суровым голосом воевода, – такие споры могут идти только между пустыми ветрогонками, а людям рассудительным они вовсе не кстати.

– Опоздали уже твои советы, ясновельможный пан, – сказал почтительно, но твёрдо Илинич, – меня обозвали трусом; но ещё до сей поры я не прощал этого никому, хотя я и был бедный и не знатный шляхтич.

– Я ничего не сказал бы против этого, – возразил воевода, – если бы вы поспорили о деле обыкновенном; но знаете ли вы что делается в Ильгове?

Все смолкли и с любопытством смотрели на воеводу, ожидая его рассказа.

– Там работает нечистая сила, – проговорил глухим голосом Ильговский, – и связываясь с нею можно погубить душу великою ответственностью перед Богом.

– Одно из двух, ясновельможный пан, – подхватил не без некоторой запальчивости Илинич, – или нужно идти на это дело во имя Божие и, что бы там ни случилось, смело ожидать конца, или же нужно проститься навсегда с доброй славой.

– Правда, правда, – проговорил воевода, – жаль только, что нечистый подбил тебя, пан Викентий, на такой разговор, – добавил Ильговский, обращаясь в Пешковскому. – Теперь, конечно, нечего делать; поезжай завтра в Ильгов, мой любезный Яцек, да сохрани тебя крест Господень от всякой напасти!

На другой день вечером Илинич стал прощаться с воеводою; он схватил руку своего благодетеля и крепко поцеловал её. Нужно было проститься и с невестой.

Подходя в той комнату, которая была отведена в замке воеводы для Ванды, жених её чувствовал, что у него билось и замирало сердце и что колени его дрожали. Илинич сам не знал на что ему решиться: перенести ли всю тоску томительного прощания или уехать из замка, не повидавшись с Вандой. В то время, когда он раздумывал об этом, в со-

седней комнате слышались лёгкие шаги молодой девушки, и Ванда, бледная, с заплаканными глазами, кинулась в своему жениху.

– И тебе не жаль, что я так страдаю?.. – проговорила она с лёгким упрёком, с трудом сдерживая слёзы, набегавшие в её чёрные очи.

– Ванда, друг мой, – говорил ласково Илинич, – неужели же ты хочешь иметь такого мужа, на которого все станут показывать пальцем, приговаривая: вот это тот самый Илинич, который перенёс обиду потому только, что побоялся вздорных сказок? Неужели ты думаешь, что если бы я был трусом, то я был бы достоин тебя? Разве рука мужчины, не сумевшего оборонить свою собственную честь, может пожать руку женщины, которая отдаёт ему себя.

– Какая мучительная ночь ожидает меня! – вскрикнула с отчаянием Ванда.

Она схватила себя за голову, и белые её пальчики потонули в прядях тёмных волос, которые от сильного движения рассыпались по плечам.

– Не тревожься моё сокровище. Я не боюсь

дьявольской силы – имя Божие защитит меня от напастей; а от злых людей обережёт меня моя сабля.

– Я всю ночь останусь в каплице, – лепетала Ванда, – я предчувствую что-то недоброе; я буду молиться за тебя и быть может Господь услышит мою горячую молитву. А теперь, – добавила Ванда, – снимая с шеи цепочку с серебряным ковчежцем, – возьми эту наследственную нашу святыню. Она была привезена нам издалека...

Илинич с благоговением принял от невесты ковчежец с мощами великомученицы Варвары. Он надел цепочку на шею, крепко прижал к своей груди плакавшую невесту, и продолжительный поцелуй окончил их горькое прощание.

– Кто знает, – подумали разом и Ванда и Илинич, – быть может этот первый поцелуй был также и последним.

Яцек опрометью кинулся на крыльцо замка; подле крыльца ждал уже своего хозяина гнедой конь; проворно вскочил на него Илинич, поднял голову и увидел в окне Ванду, которая посылала ему рукою прощальный по-

целуй...

Во весь опор скакал Илингч к Ильговскому замку, за ним едва поспевали ехавшие позади него два всадника. Наступали сумерки, а между тем густые тучи стали заволакивать небо. Но вот, показались уже невдалеке и башни Ильгова. Его почернелые стены и осыпавшаяся черепичная кровля как будто говорили, что над этой молчаливой громадой уже пронеслось несколько столетий. Из расщелин крыши и стен выступал кудрявый мох и росли деревьев. Глубокие рвы, грозно смотревшие бойницы и узкие висячие мосты напоминали, что замок этот старались сделать когда-то недоступной твердыней. Внутреннее устройство замка подтверждало назначение его как крепости; под ним, между прочим, были устроены длинные подземные ходы; эти ходы извилисто шли в глубь окрестных лесов, где жители замка, в случае неприятельского погрома, могли найти для себя надёжное убежище.

Замок этот с незапамятных времён принадлежал Ильговским, которые по нему и по-

лучили своё фамильное прозвание. Долгое время Ильгов был роскошным местом пребывания польских магнатов, и тогда из бойниц смотрели пищали, а многочисленная стража постоянно ходила на валах и на башнях. Когда же один из Ильговских лишился вдруг в этом замке самым неожиданным образом любимой жены и двоих сыновей, то печально и тоскливо стало казаться ему жилище, в котором он прежде проводил так счастливо время среди самых отрадных надежд.

Тяжёлая постройка замка и печальное однообразие окружавшего его бора наводили безотчётную тоску на непривычного посетителя этих мест. Замок смотрел ещё сумрачнее после того, как покинули его сперва владельцы, а наконец и прислуга; двор зарастал густой травой, цепи подъёмных мостов, а также железные скобы на воротах и их огромные петли покрывались красно-жёлтой ржавчиной, флюгера на башнях замка покривились и уныло скрипели в ветряную погоду, трубы осыпались, а во рвах вода покрылась густою тиною. Всё было в забросе и в запустении.

Страшная молва, которая, как мы сказали, начала распространяться о покинутом замке, отгоняла от него проезжих и прохожих во всякую пору, в особенности же тогда, когда начинало садиться солнце и близились сумерки и ночь. Все с ужасом спешили удалиться от этого заклятого места, и потому окрестные поселяне не мало подивились, когда они увидели в поздние сумерки трёх всадников, скакавших к страшному месту.

Илинич и его спутники подъехали в замок; из них первый въехал во двор замка; двое же других затворили за ним плаксиво заскрипевшие ворота и забили их большим волом, так что теперь уже не было никакой возможности выйти из замка без посторонней помощи извне.

Войдя во двор замка, Илинич соскочил с коня и отвёл его в конюшню. Изумился Илинич, найдя там и засыпанный овёс, и большой ворох сена. Борясь и с неверием к дьявольским наваждениям, и с суеверным страхом, который так свойствен людям, Илинич не знал, как объяснить эту странность.

Привязав коня, одинокий Яцек вошёл в за-

мок. Какими-то бесконечными пропастями казались ему в полутьме пустые и огромные залы. Всё было тихо, и только эхо повторяло каждый шаг и каждый шорох Илинича; несколько раз останавливался он посреди зал и, притаив дыхание, желал удостовериться в тишине, господствовавшей вокруг него.

Переходя из залы в залу, Илинич вошёл в круглую комнату, составлявшую часть башни; заметно было, что комната эта служила некогда оружейной. На стенах её оставалось ещё кое-какое старое оружие, висели оленье рога и кабаньи клыки.

– Вот здесь переночую я, – подумал Илинич.

В это время набегавшие на небо тучи стали мало-помалу рассеиваться и в проредях их выглянул месяц, бросивший полосы золотистого света в узкие окна замка. Илинич, пользуясь этим, подошёл к окну и при свете луны осмотрел винтовку и саблю. Оказывалось, что нечистая сила не свернула замка на винтовке и не забила её дула и не надломил клинка сабли. Успокоившись от суеверного страха, Илинич снял с груди ковчежец, данный ему

невестой, поцеловал его и положил его перед собою на столе, а потом, став на колени, начал молиться. Долго и усердно молился он, поминая в своей молитве Ванду, которая каким-то лёгким призраком носилась в его тревожных мыслях.

Окончив молитву, Илинич, в ожидании рассвета, прилёг на дубовой скамье.

Он уже начинал полудремать, когда в отдалённых покоях замка послышался какой-то шум. Илинич привстал, взялся сперва за ружьё, потом за рукоятку сабли, и крепко сжав её начал прислушиваться. Шум становился всё явственнее, и наконец в соседней комнате, слышались тяжёлые шаги нескольких человек.

– Пресвятая Богородица, помоги мне!.. – прошептал Илинич и приготовился к обороне.

Едва начало светать, а уж в Придольском замке все поднялись на ноги.

Как только проснулся воевода, то первыми его словами были: "А что, пан Яцек вернулся из Ильгова?"

Опечалился Ильговский, получив отрицательный ответ. Он приказал закладывать поскорее лошадей и в сопровождении нескольких шляхтичей, живших при его дворе, отправился в Ильгов, запретив сказывать гостям и в особенности Ванде об этой поездке. Не успел, впрочем, воевода выехать из ворот, как в замке поднялась суматоха – Ванда пропала.

Долго искали её все, а в том числе и сам воевода, который однако нашёл молодую девушку, заглянув в каплицу. Там, заливаясь слезами, Ванда лежала на ступенях алтаря. Она не заметила, как взглянул на неё воевода; Ильговский же не велел тревожить Ванду и поспешил выехать из замка.

Путь был не слишком далёк, и воевода скоро подъехал к покинутому жилищу своих предков. Проворно прислужники его отбили кол, припиравший ворота, и Ильговский, с живостью юноши выскочив из колымаги, пошёл в замок в сопровождении всех приехавших с ним.

Сердце старика сильно забилося, когда при самом входе на лестницу он увидел на её сту-

пенях следы ещё не запёкшейся крови; тревожно спешил он из покоя в покой по кровавому следу и наконец вошёл в оружейную.

– Боже мой! Что здесь такое?.. – вскрикнул с ужасом Ильговский.

Посреди залы лежал Илинич, облитый кровью; одной рукой он силился зажать рану на голове, как будто желая удержать струившуюся из неё кровь, другой рукой он сжимал окровавленную саблю.

– Зачем ты не послушал меня, дорогой мой Яцек... – бормотал старик, ломая в отчаянии руки.

Ильговский стал на колени подле раненого и тревожно смотрел, не таится ли ещё в нём признаков жизни.

– Он ещё жив! – радостно вскрикнул Ильговский, продолжая смотреть на Илинича, который в это время силился открыть глаза.

Между спутниками воеводы находились и такие, которые уж не раз бывали в битвах и умели обращаться с ранеными. При Илиниче нашли кусок хлеба, кусок этот обмотали паутиной и, сделав из него род пластыря, приложили к ране. Кровь вскоре унялась. Принесли

воды, обмыли лицо и голову Илиничу, и после этого признаки возвращавшейся в нему жизни сделались заметнее. Бережно положили раненого в колымагу, а между тем воевода разослал бывших при нём шляхтичей во все стороны искать лекарей.

Колымага двинулась в обратный путь шагом. Воевода боялся, что скорая езда раскроет рану Илинича, и старик беспрестанно напоминал, чтоб ехали как можно осторожнее.

Когда в Придольском замке увидели медленно двигавшийся поезд воеводы, то все догадались, что наверно случилось что-нибудь недоброе.

– Пойдём, пойдём навстречу! – говорила дрожащим голосом Ванда, судорожно схватив за руку своего отца и силясь увести его за собою.

Пан Дембинский исполнил желание дочери, и когда они второпях выбежали на крыльцо, колымага уж въезжала в ворота замка.

Бледная как лилия и неподвижная как мраморная статуя стояла растерянная Ванда.

Колымага подъехала в крыльцо. Ванда в одно мгновение как будто ожила. Воевода, не

говоря ни слова, отворил дверцы колымаги. Быстро вскочила молодая девушка на подножку, и с неё упала без чувств на руки своего отца.

Полумёртвого Илинича стали вынимать из колымаги, и между тем кругом раздавалось аханье и оханье, сожаления и расспросы.

Все горевали о молодом человеке, поплатившемся, как казалось, жизнью за свою безумную отвагу.

Ильговский замок сделался после этого ещё страшнее, нежели был прежде. Все чудесные о нём рассказы получили теперь полную веру.

Спустя три дня после привоза Илинича в Придольский замок, из ворот этого замка, в светлое майское утро, медленно выступало погребальное шествие. Жалобно пели ксёндзы надгробные молитвы; за ксёндзами шло множество народа со свечами и факелами, далее шесть молодых людей несли обитый пунцовым бархатом гроб, на крышке гроба лежало под миртовым венком оружие покойного. За гробом медленными неровными шагами шёл старик-воевода с поникшей головой,

невдалеке от него едва переступала рыдающая Ванда. Дембинский поддерживал и утешал дочь, но все усилия были напрасны. По сторонам и сзади Дембинского шла толпа гостей, приехавших на свадьбу и попавших на похороны.

Разноречиво толковали о смерти Илинича те, которые шли за его гробом. Передавали между прочим достоверно, что когда умиравший Яцек пришёл на несколько времени в память, и когда Ванда, стоя у его постели на коленях, со слезами умоляла его рассказать о том что с ним случилось в Ильгове, то будто он отвечал на все просьбы своей невесты, что не может ничего рассказать, так как он связан клятвою молчать обо всём что с ним было в Ильгове.

Ванда после смерти жениха ушла в монастырь. Спустя несколько месяцев умер воевода, не сделав никакого завещания, и потому все его богатства перешли к одному из самых дальних его родственников, который вовсе не ожидал такого несметного наследства.

Минуло слишком сорок лет со дня смерти

Илинича.

Однажды осенью в небольшом домике шляхтича Свобельского собрались гости, и один из них стал рассказывать о том, как в его стране какой-то богатый недобрый пан лишил убогого шляхтича последних крох, а потом коварно погубил его.

– А вот постоит-ка, – сказал хозяин, – я расскажу вам любопытный случай из собственной моей жизни. Есть что послушать.

Все призамолкли; старик откашлялся и начал рассказывать следующее:

– Вы верно слышали, что лет сорок тому назад, знатный и богатый в своё время воевода Гаданский поднимался против короля Яна Казимира. Этот пан был человек чрезвычайно надменный, хотя и был набожен и носил монашескую одежду. Усердствовал воевода Гаданский церкви Божией, делая богатые вклады на костёлы и монастыри, а между тем угнетал бедных и подвластных. Захотелось пану попасть в краковские каштеляны, но он обманулся в своих расчётах, так как король назначил на эту важную должность не его, а другого. Рассердился воевода на короля и на-

чал составлять в одном из городов недалёких от Кракова конфедерацию против короля Яна Казимира, и когда воеводе был предъявлен королевский приказ, в силу которого он должен был удалиться из города, то он во всеуслышание сказал: "хорошо; я уйду из города, но зато и король уйдёт из Польши".

Правда, что предсказание его не сбылось, но зато пан Гаданский много наделал хлопот и королю, и тем магнатам, которые держали сторону его королевской милости. Вы конечно знаете Придольский замок и Придольские леса, или по крайней мере слышали о них. Вот в этих-то лесах и стали собираться конфедераты, а чтоб им никто не мешал, пока дело велось в тайне, они и распустили слухи о разных чудесах, которые будто бы деялись в этом давным-давно заброшенном замке. Народ то в ту пору был ещё полегковернее, чем теперь. Стали верить, и пошли ходить страшные рассказы о замке по всему околотку, все стали бояться этих мест до такой степени, что и проезжие, и прохожие старались миновать Придольский замок и его окрестные леса.

В то время я был куда как молод. Кровь

сильно кипела во мне; мне очень хотелось побывать в бою, а между тем в эту пору Польша жила мирно со всеми своими соседями, воевать было не с кем. Вот я и воспользовался конфедерацией пана Гаданского, да и пробрался к нему в лес.

Около осени приехали к нам туда какие-то три панича и приказали, чтобы их прямо вели к пану воеводе, нашему предводителю. Поговорив особняком с паном Гаданским, молодые люди записались в наш отряд; один из них назывался Кмита; двое других были братья Пешковские.

Должно быть у всех у них было что-то недоброе на сердце, потому что они избегали людей и общих разговоров; они держались ото всех в стороне и только украдкой шептались о чём-то между собою. Впрочем па такие пустяки никто из конфедератов не обращал тогда большего внимания, потому что каждый из нас был занят своим делом. Однажды, как теперь помню, на другие сутки после Духова дня, я и двое других моих товарищей получили от воеводы приказ – быть во всякое время готовыми на призыв пана Кмиты. В во-

енной службе рассуждать не приказывают, и хотя каждый из нас по поводу такого неожиданного распоряжения и подумал многое, однако мы исполнили приказ в точности. Недолго впрочем нам пришлось ожидать, потому что б этот же день вечером пан Кмита повёл нас в Придольский замок; вместе с нами пошли туда несколько его прислужников с факелами.

Мы вошли в замок, миновали несколько комнат и наконец вошли в круглую залу, которая, казалось, была когда-то оружейной. Здесь мы застали какого-то молодого человека. Ох! как гневно взглянул он на нас; несмотря однако на весь гнев, лицо его было чрезвычайно привлекательно. Видно было, что он сперва принял нас за нечистую силу, однако не струсил и её, и выхватя саблю готовился вступить в бой даже с чертями.

Когда же он узнал Кмиту и Пешковского, то опустил саблю и грозно, не говоря ни слова, смотрел на них; Кмита с своими товарищами начали укорять и оскорблять его, и тут-то мы догадались, что дело кончится не шуткой. А сначала мы подумали, что вероятно

молодёжь наша хотела позабавиться над каким-нибудь смельчаком, который, желая показать свою удаль, забрался один в проклятый замок.

О чём они между собою спорили в эту пору нельзя было разобрать хорошенько, но спор кончился тем, что наши предложили ему драться со всеми ими по очереди, грозя, в случае отказа его выйти на такой неравный бой, жестоким оскорблением. Пан Илинич, – так назывался, как я узнал после, этот молодой человек, – засвидетельствовал перед Богом и нами, что напасть троим на одного значит поступать бесчестно и затем стал готовиться к поединку.

Перед боем противники Илинича потребовали от него клятву, что если он останется в живых, то не скажет никому что с ним было. Илинич без упорства дал благородное слово, что исполнит их желание.

Не раз после этой страшной ночи приводилось мне быть в кровавых боях и видеть смерть моих храбрых товарищей, но такого боя и такой смерти, какие привелось мне видеть в ту ночь, я не видывал никогда...

Противники стали тянуть жребий: первый узелок достался одному из Пешковских. Завязался бой, но он был непродолжителен, потому что Илинич ловко рубнул своего противника по левому плечу. Раненого вынесли. Второй узелок достался другому Пешковскому, тот бился удалее своего брата и после нескольких ожесточённых схваток он ранил Илинича в руку, но Илинич, несмотря на это, успел отбить готовившийся ему смертельный удар и всадил свою саблю в правый бок Пешковского; вынесли и этого.

Илинич был утомлён до крайности, кровь текла из его раны; он тяжело дышал, и ему был нужен хотя маленький отдых, но пан Кмита настаивал, чтоб он тотчас же дрался и с ним. Легко было догадаться, что над усталым Илиничем возьмёт верх ещё бодрый Кмита. Но этого была мало, и прежде чем Илинич успел приготовиться к отпору, его противник напал стремительно и нанёс ему в голову тяжёлый удар. Илинич закачался и упал на пол, укоряя Кмиту в вероломстве. Тот вышел из себя и, бросившись на лежавшего Илинича, ещё раз со всего размаха рубнул его

по голове...

Илинич глухо стонал, но пан Кмита, не обращая на то никакого внимания, велел оставить его одного в замке, а сам со всеми, кто провожал его, вышел оттуда в лес подземными ходами. Признаться, я хотел было испытать мою саблю на голове пана Кмиты, но дело моё было подначальное, да притом я подумал, что око Господне видело всё это и что рано или поздно Господь Бог накажет Кмиту за неправоe дело.

На другой день после этого, я под предлогом, что мне нужно видеть старика-отца, оставил наше сборище, давши честное слово не говорить о случившемся в замке никому до тех пор, пока будут в живых Пешковские и Кмита; теперь их уже нет на свете, и потому клятва моя не обязательна.

Бродя после того долго по свету, я прислушивался к людской молве и наконец узнал, что поединок с Илиничем был за богатое наследство и за дочь какого-то подкомория, которая нравилась крепко и пану Кмите.

— Ну, а что же потом было с Кмитой? — спросила робко одна из девушек, слушавших

рассказ старика.

– Пан Кмита погиб страшною смертью, – отвечал рассказчик, – в одной неудачной стычке он, избегая погони, поворотил в чащу Придольского леса, там наткнулся на стаю волков и был растерзан ими.

Князь Иероним Радзивилл, великий хорунжий Литовский

Если вам случится побывать в Вильне, то поезжайте посмотреть Верки, некогда имение князей Радзивиллов, отстоящее от города верстах в семи. Проехав около версты по открытому пространству, только вдалеке окаймлённому с правой стороны Антокольскими холмами, вы минуете Кальварию и Трипополь и потом, излучистым берегом Вилии, будете приближаться к Веркам. В некотором от них расстоянии начнётся шоссе, ведущее в гору, на которой они расположены. Вся эта гора покрыта густою зеленью, а среди зелени мелькают каменные строения. Вид с горы очаровательный: пред вами широкая равнина, по которой голубою лентою извивается Вилия, за нею пашни, холмы и леса, влево Вильно с его красивыми и многочисленными костёлами.

Но лет шестьсот назад все нынешние окрестности Вильны были покрыты дремучими лесами, и в них князья литовские любили

забавляться охотою; в них жили также жрецы литовского бога Перкунаса. Однажды главный из жрецов Криве-Кривейте, прогуливаясь по лесу, встретил молодую литвинку, пленился её красотой, и она скоро сделалась от него матерью. Криве-Кривейте был в страшных хлопотах, наконец, после долгих размышлений, он придумал средство не только скрыть свою грешную любовь, но и сделать счастливым своего новорождённого сына.

В это время приехал из Трок тогдашний князь литовский поохотиться в тех лесах, где жил Криве-Кривейте. Последний воспользовался этим случаем: уложив своего младенца в колыбельку, украшенную цветами и разными блестящими побрякушками, он повесил её на вершине горы среди ветвей густого дерева, зная, что князь, гоняясь за дикими волами (туры) и буйволами, непременно побывает в этом месте. Действительно, вскоре по лесам, до того времени безмолвным, раздались звуки рогов, рёв и крики, и кунигас [4] литовский, с копьём в одной руке и с рогатиной в другой, впереди всех охотников спешит в ча-

цу леса; но он обманулся в удаче своей охоты, потому что Криве-Кривейте давно уже отогнал отсюда и туров, и буйволов, и вместо их рёва князь услышал плач младенца.

Князь поспешил туда, где слышался плач, и с изумлением увидел что-то блестящее в ветвях дерева. По знаку его охотники поспешили взлезть на дерево, достали висевшую на нём колыбель и поставили её у ног кунига-са. Увидевши младенца, князь изумился и считая это чудом велел позвать Криве-Кривейте, чтобы он истолковал ему этот случай и объявил волю богов. Долго в таинственном молчании стоял Криве-Кривейте, как бы совещаюсь с богами, и наконец сказал: "Государь! ты любимец богов, ты призван ими, чтобы осчастливить Литву. Боги заблаговременно послали тебе этого ребёнка, чтобы в нём приготовить мне преемника, потому что я скоро расстанусь с этим светом. Воспитывай его с любовью, и он будет посредником между тобою и богами!" Обрадованный князь счёл всего приличнее отдать найденного им младенца на воспитание самому Криве-Кривейте, а на память плача, то место, где был найден

младенец, назвал – Werkts, что значит по-литовски "плач", и отсюда, по народному преданию, получили своё название Верки. Найдённыш был назван "Лиздейко"; он был впоследствии преемником своего отца и сделался родоначальником Радзивиллов, Нарбутов и других дворянских литовских фамилий. Лиздейко умер в 1350 году, 70 лет от роду.

Внук его стал называться Радзивиллом; он вместе с королём Ягеллом принял в 1386 году св. крещение в Кракове и наречён был Николаем. Значение потомков его всё более и более увеличивалось в великом княжестве литовском, и они сделались первыми в нём вельможами со времени брака польского короля и великого князя Сигизмунда II Августа с Барбарою Радзивилл. Родственники её, щедро одарённые королём и получившие в 1518 и 1547 годах княжеское достоинство Римской Империи, постоянно занимали в Литве первые должности и славились своими несметными богатствами. К родовой своей славе многие Радзивиллы присоединяли и личные свои заслуги; но некоторые из них отличались только разными странностями и причу-

дами и были представителями своеволия польских магнатов.

В этой статье мы расскажем о князе Иерониме Радзивилле, великом хорунжем литовском. Он был одним из тех своеобразных характеров, которые могло породить только гражданское положение Польши в последние два века её самобытного существования. Только в народе, привыкшем к своеволию панов и удивлявшемся, как необыкновенному событию, если миролюбиво оканчивался шляхетский сеймик, только в таком народе, среди которого не было над дворянством строгой власти, могли явиться личности, подобные Радзивиллу.

Князь Иероним Радзивилл жил в первой половине XVIII века, когда власть королевская совершенно ослабела, поэтому Радзивилл вовсе не думал исполнять никаких повелений короля и распоряжений Речи Посполитой, считая себя как бы независимым владельцем и только союзником своего соседа, великого князя литовского, жившего в Варшаве.

Действительно, Радзивилл мог быть впол-

не независимым от короля, и трудно было заставить его повиноваться силою. Владея огромными имениями и миллионами, он приобрёл себе множество приверженцев в окольном мелком шляхетстве, посредством отдачи своих поместий во временное владение своим соседям. В это время, по замечанию одного польского писателя, польские паны занимались следующим: один из них проказничал и наездничал по большим дорогам, или делал набеги на гайдамаков, другой хватал на распутьях незнакомых, привозил к себе и пьянствовал с ними, третий или молился по костёлам, или справлял жидовские "борухи", четвёртый писал книжки или сочинял стихи, пятый искал рассеяния за границей до тех пор, покуда какие-нибудь обстоятельства не призывали его на позабытую им родину. Но князь хорунжий не был ни учён, ни храбр, ни набожен, не любил путешествий, не искал почестей и отличий, и потому сам не знал что ему делать. От скуки он сделался мрачным, своенравным и жестоким в обращении с людьми, ему подвластными. Со всеми обходился он сурово и старался проникнуть каж-

дого благоговением к своей особе. Малейшее оскорбление своей чести он наказывал жестоко, и поэтому подвалы Бяльского замка, в котором жил князь, со времени его сделались страшными в народных рассказах.

Чтобы показать, до какой степени доходило могущество Радзивилла, скажем, что он имел 6000 регулярного войска, устроенного по образцу прусского, и до 6000 казаков и надворных стрельцов, живших по разным местам в качестве княжеского гарнизона. Войско его состояло из пехоты и конницы; в нём находились генералы, полковники и майоры, а что чины были нешуточные, это лучше всего доказывается тем, что комендант в г. Слуцке, принадлежавшем в то время Радзивиллу, им назначаемый, считался в чине генералов коронных войск литовских.

Родной брат Иеронима был в то время великим гетманом, следовательно главным начальником Иеронима, и вдобавок был старшим его братом, и хотя, по старинным польским обычаям, старший брат заступал место отца в осиротелом семействе, но гетман напротив был в полном послушании своего

младшего брата. Содержа своё собственное войско, князь Иероним не хотел ни посылать его, по воле короля или сейма, ни платить с имений своих воинской повинности. Правда, потребовали за это его в воинскую комиссию, но он и не думал туда являться; приговоры сыпались на него градом из судебных мест, но никто однако не решался приводить их в исполнение. Напрасно гетман просил и умолял брата не оскорблять так дерзко чести короля; Радзивилл не хотел ничего слышать и наконец, после долгих переговоров, сказал: "Если королю нужно будет войско, то я, так уже и быть, дам ему своё, но платить податей ни за что не стану".

Скупость была отличительною чертою в характере князя Иеронима, и этим он отличался от прочих Радзивиллов, слывших и в Литве, и в короне [5] за самых щедрых магнатов. Он очень рад был, когда по определению суда отдали родственника его литовского кравчего князя Радзивилла, ему в опеку, потому что в этом случае он мог распоряжаться в его имениях, как ему было угодно, и огромные с них доходы обращать в собственную свою

пользу; самого же кравчего содержал он в своём слущком замке под строгим надзором и в ужасной нищете.

Если князь Иероним так недобросовестно обходился с своим родственником, носившим имя Радзивилла и имевшим сильную родню, то можно представить что должны были терпеть от самовольства Радзивилла и бедная шляхта, и его холопы. При своей подозрительности, он всех почитал своими врагами и с удовольствием издевался над теми, кто попадался, по приказанию его, за самую малость в его княжеские тюрьмы: он любил прислушиваться к стонам содержащихся там и, как говорит предание, называл бяльских узников своими лучшими певцами. Не признавая над собой ни чьей власти, он считал пустяками повесить подвластного себе человека, единственно по своей только прихоти, без всякой вины.

Вот один подобный случай: однажды князь в глубоком раздумье сидел у окна своего замка и посматривал на широкий его двор. В это время один из его служителей ходил у ворот, как бы поджидая кого-нибудь. Видя

это, князь вышел из замка и пошёл прямо к воротам. "Что ты здесь делаешь?" – спросил он ходившего. Этот, думая угодить князю, отвечал: "Будучи всегда готов к услугам вашей княжеской милости, я хотел быть всегда у вас на глазах". Рассерженный, неизвестно почему, таким ответом, Радзивилл закричал слугам: "Ну так повесить его!" и обратившись к несчастному, сказал ему ободрительным голосом: "Я исполнил твоё желание... ты будешь у меня теперь на глазах!" Приказание князя было исполнено немедленно.

Он также наказывал смертью своих служителей за пьянство, но зато и сам, против обыкновения, существовавшего тогда и в высшем польском обществе, никогда не напивался допьяна. Раз, впрочем, ближайший его наперсник ксёндз Риокур споил князя в своей плебании; это был день именин ксёндза, и ему было дано позволение делать всё что угодно, поэтому он воспользовался таким случаем и порядком напоил своего ясновельможного прихожанина, стараясь этим, вместо проповеди, вселить князю снисхождение к подвластным ему лицам, с которыми могло

быть тоже самое, и это был единственный случай во всей жизни, когда Радзивилл выпил через меру. Возвратившись с именин, он с трудом взбирался по лестнице своего замка, а один из княжеских стражей, видевший его в таком виде и полагая, что хмельной князь не расслышит, громко сказал своему товарищу: "Посмотри, как он нарезался... а если бы это сделал кто-нибудь из нас, то наверно бы уж он повесил!" Князь услышал эти слова и закричал задыхаясь от злости: "Позвать ко мне этого стража!" Посланный побежал и дрожа от страха передал виновному приказание князя. Тот принуждён был идти наверх. "А что ты там сказал?" – спросил князь. "Я сказал правду, – отвечал страж, – я сказал, что никогда не видел пьяным вашу княжескую милость, и сегодня вы напились, как... а если бы это сделал бедный человек..." "Ты умно рассуждаешь, и я назначаю тебя сержантом!" – сказал князь. Это был единственный случай и пьянства, и великодушия Радзивилла; но с вероятностью можно заключить, что он вообще был бы лучше, если бы самовластие его встречало иногда отпор, а не одно безмолвное ра-

болепство.

Иногда занятия князя Иеронима принимали шуточный вид. Верстах в двух от Бялы, главного его местопребывания, находилась деревня Словатинск. Князь устроил здесь замок и назвал его столицей короля словатинского, определил границы нового государства и поставил туда королём одного из своих чиншовых [6] шляхтичей. Потом князь стал нарочно придираться к новому государю, которому он предоставил сам же неограниченную власть, стал вести с ним дипломатическую переписку и повёл её так вежливо и умеренно, что дело кончилось разрывом между королём и основателем государства. Началась война не на шутку; князь стал собирать войско, вооружать и обучать его, готовить артиллерию и потом, приняв главное начальство, двинулся, на Словатинск. Конечно, перевес был на стороне князя, хотя правду сказать, и с той, и с другой стороны было довольно поломано рук и ног, и разбито голов. Войска княжеские всё сильнее и сильнее стесняли войска королевские, и наконец король принуждён был укрыться в замке. Князь осадил его и

приступом взял укрепления; король сделался пленником и назначен служить украшением княжеского триумфа, а королевство Словатинское присоединено к владениям Радзивилла. С торжеством возвратился князь в свой замок, пушки гремели в честь его победы, и льстецы велеречиво поздравляли его с нею. Но дело этим не кончилось: над пленным королём назначен суд, и он, как оскорбитель княжеской чести, приговорён к смерти; но князь однако смягчил приговор суда и впоследствии возвратил шляхтичу и сан, и владения, но для того только чтобы повторить прежнюю комедию, которая вероятно, если бы продлилась жизнь князя Иеронима, кончилась бы тем, что король словатинский, подобно многим, имевшим дело с Радзивиллом, очутился бы на виселице.

Много разных забавно-грустных преданий сохранилось о князе Иерониме в окрестностях Бялы; но все они носят отпечаток ограниченного ума, соединённого с жестокостью сердца.

Внешность князя была вовсе непривлекательна. Он был высок, одутловат и совершен-

но лыс; острые черты лица и какое-то дикое выражение глаз придавали физиономии его что-то отталкивающее. Он никогда не смеялся, но был всегда суров и пасмурен и в добавок ко всему этому ужасно заикался.

Панна Эльжбета

В числе первых любимцев короля Станислава Августа Понятовского был великий гетман литовский Михаил Огинский. Давнишнее знакомство с королём, одинаковое воспитание, а главное, сходство характеров и блестящее положение Огинского сближали короля с магнатом. Несмотря на упадок королевского сана в Польше, дворянство льстилось вниманием, а тем более любовью короля, и поэтому при дворе завидовали Огинскому; все старались повредить ему в мнении короля; но все придворные интриги оставались безуспешны, дружба его к гетману была неразрывна до тех пор, пока, без всяких происков вельмож и царедворцев, вмешалась в это дело простая восемнадцатилетняя крестьянская девушка, по имени Эльжбета или Елизавета.

Доныне в картинной галерее, принадлежащей одной знаменитой польской фамилии, сохранился портрет этой девушки, работы известного в своё время Бакчиарелли. Портрет лучше всего свидетельствует о необыкновен-

ной красоте той, с которой он был снят, и которой суждено было расстроить дружбу Понятовского с Огинским и до некоторой степени подействовать на судьбу Польши.

Однажды гетман поехал на охоту в одно из обширных своих поместий и на берегу реки Равки встретил девушку, которая поразила его своей красотой. Огинский был любитель женского пола и смотря на прелестное личико крестьянки не вытерпел, чтобы не заговорить с нею.

Он спросил, кто она и зачем ходит одна по лесу, и получил в ответ, что она дочь лесного сторожа, который умер, оставив её на руках мачехи; что злая мачеха обижает её, и что она ушла в лес, желая избежать тех огорчений, которые она встречает дома.

– Знаешь ли ты меня? – спросил Огинский.

– Как же не знать вашей княжеской милости, – отвечала девушка.

– И ты не боишься меня?

– Что же? разве ясный пан какое-нибудь пугало? – напротив.

Похвала крестьянки Огинскому, который был действительно красивый мужчина, была

весьма приятна.

– А могла бы ты полюбить меня? – спросил Огинский.

Румянец вспыхнул на щеках девушки, она ничего не отвечала и потупила глаза; но когда подняла их, то взгляд её встретился с взглядом Огинского.

– Скажи мне, – продолжал Огинский, – но скажи правду: никто ещё не любил тебя?

– Кто же полюбит меня, бедную сироту!.. Правда, ухаживают за мной многие и приста-ют ко мне, да что в этом...

– А как твоё имя?

– Эльжбета.

– Ну слушай, Эльжбета, – сказал Огинский, – я тебя избавлю от мачехи.

Девушка в восторге бросилась обнимать ноги магната.

– Я дам тебе, – продолжал Огинский, – такие уборы, каких нет у жены моего эконома, я сделаю тебя знатной пани, у тебя будут слуги в галунах и в ливреях, у тебя будут славные кони и золотые кареты, и всё это будет... сегодня вечером.

Не успел гетман кончить последних слов,

как на дороге показалась старая бричка, и в ней сидела грязная цыганка.

– Подай мне хоть грош, пригожий панич, – сказала она Огинскому, – и поданная мне милостыня возвратится к тебе с избытком.

– Не нужно мне этого, – сказал Огинский, подавая цыганке несколько золотых монет, – а вот лучше поворожи этой девушке.

Цыганка взяла маленькую руку Эльжбеты, и внимательно смотря на линии ладони, шептала что-то, а потом сказала громко:

– Ты будешь знатная госпожа!

– Видишь, я говорил правду, – шепнул Огинский девушке.

– Будешь жить в дворцах, ходить в шелку и золоте, за тобою будут ухаживать самые знатные паны.

Эльжбета задрожала от радости, но вздрогнул и Огинский, когда цыганка сказала громче прежнего:

– Мало этого – ты будешь женою короля!

Несмотря на своё прекрасное образование, на дух времени и даже на переписку с Вольтером, Огинский был суеверен; притом мысль о короне была в голове каждого магната, и как

же было не думать о ней Огинскому, прямому потомку Рюрика, одному из сильнейших и богатейших вельмож и в Литве, и в Польше? Ему показалось, что, имея в руках своих судьбу будущей королевы, он сам может легче сделаться королём.

В тот же день вечером Эльжбета переехала в Наборово, имение Огинского; щедрый магнат окружил её неслыханною роскошью, толпы слуг и прислужниц, великолепно одетых, явились исполнять её малейшие прихоти. Учителя один за другим приходили развивать и обогащать природный ум молодой крестьянки, так неожиданно перешедшей от бедности и притеснений к богатству и роскоши.

Хотя в то время вельможи, подобные Огинскому, и были избалованы мелкими победами над женщинами высшего круга, тем не менее Огинский всем сердцем привязался к Эльжбете, и уже ходила молва, что быть может королевой ей и не бывать, но зато гетманшей будет непременно.

Последнее вероятно и сбылось бы, если бы о редкой красоте Эльжбеты не проведал задушевный друг Огинского, король Станислав

Август, тоже страстный поклонник женщины, и чтоб убедиться во всём он приехал в Наборово.

– Правда ли, пан Михаил, – сказал король гетману, – что ты влюблён без ума?

– Быть может, ваше величество.

– И ещё в крестьянку?

– Красота женщины, государь, как говорит французская пословица, для неё важнее, чем родословная в четырнадцать дворянских поколений.

– Шалишь, шалишь, мой друг, – говорил ласково король. – Ты набрался бредней Вольтера и Руссо; но они хороши только в теории.

– Я убедился, ваше величество, что они в некоторых случаях так же хороши и на практике.

– Да, – перебил король, – молва гласит и это.

– И справедливо; вы бы сами, государь, разделили это мнение, если б знали ту женщину, которая осуществляет теорию.

– Будто бы уж она так хороша? – спросил король, и восторженный Огинский в самых привлекательных красках описал прелести

Эльжбеты, перед которой померкли бы все красавицы Варшавы.

– Что же, – заметил король, – такая женщина и в самом деле достойна сделаться великой гетманшей Литовской.

– И чем-нибудь побольше, – сказал загадочно Огинский, – и этим возбудил любопытство Станислава Августа и наконец по его настоянию должен был рассказать о предсказании цыганки.

Король, надобно заметить, был так же суеверен, как вообще люди, жизнь которых отличалась каким-нибудь необыкновенным случаем.

– Покажи мне будущую королеву, – сказал Понятовский.

Огинский нахмурил брови, потому что знал, как король любил женщин, и как он умел искусно обольщать самых стойких из них, а потому и медлил исполнить желание короля.

– Ага! – сказал Понятовский, – ты боишься и за неё, и за корону... Да правда, – добавил он насмешливо, – муж будущей королевы сам может быть королём, особенно если это пред-

скажет бродячая цыганка. Смотри, я напишу об этом Вольтеру.

Вольтер господствовал в то время над умами, и Огинский боялся его более, нежели набожные предки его боялись самого чёрта. Затронутый за живое насмешками короля, он решился показать Эльжбету.

Король, как говорит предание, был поражён красотой Эльжбеты с первого разу, и, казалось, второе предсказание цыганки началось сбываться, потому что его величество, несмотря на важные государственные дела, призывавшие его в Варшаву, прогостил в Наборове три дня, а на четвёртый выехал из Наборова, пригласив ехать вместе с собою и своего ошчастливленного хозяина.

Но едва только король и гетман выехали из Наборова, как просёлочною дорогою, по направлению к Варшаве, покатила красивая коляска, и в ней сидела прелестная Эльжбета; сопровождали её три казака и Конаржевский, главный исполнитель всех сердечных повелений его величества, короля польского Станислава Августа.

В продолжение четырёх дней, почти посто-

янно проведённых с королём, в то время мужчиною весьма красивым и умевшим нравиться женщинам и умом и обхождением, Эльжбета успела полюбить его без памяти, и кроме того убедившись на деле в справедливости первой части предсказания, она уже грезила о королевской короне.

Огинский вышел из себя, узнав о вероломстве своего друга; он проклинал высокую честь, ему сделанную, и грозил отплатить королю, как только представится случай. Тщетно король употреблял все усилия, чтобы снова сблизиться с раздражённым магнатом. Огинский не мог забыть, что король лишил его и сердечной привязанности, и надежды на корону, и в отместку за это пристал к конфедерации, имевшей такое губительное влияние и на участь короля, и на судьбу Польши.

Но конечно вы читатель спросите: что же случилось с Эльжбетою, главною виновницею всего этого; скажу вам, что предсказание цыганки сбылось и она сделалась женою короля. Но вы на это возразите: Как же это было? ведь известно, что Понятовский не женился на Эльжбете. Случилось это очень просто:

Пресыщенный любовью Эльжбеты, непостоянный Станислав Август выдал её замуж за одного бедного дворянина, фамилия которого была Krul, что значит по-польски король, и таким образом Эльжбета была женою короля, но только не того, о котором она мечтала.

Шляхтич Кульчиковский

Много бы можно было написать о тех весёлых и шумных попойках, которыми славилась старинная Польша; особенно они участвовали в правление королей саксонского дома, из которых Август II, союзник Петра Великого, отличался как богатырскою силою, так и страстью выпить через меру. Король имел много ревностных сановников по разным частям управления, но по части выпивки помогали ему с особым усердием в Саксонии фельдмаршал Флемминг, а в Польше каштелян Юзеф Малаховский. Но несмотря на громкую славу этих лиц, Август II нашёл соперника, с которым он, по собственному его сознанию, не в силах был тягаться.

Однажды, во время войны с Карлом XII, после какой-то победы, одержанной над шведами, Август II приехал в небольшое местечко Пётрков, чтобы председательствовать в тамошнем трибунале. Не столько заботы о войне, сколько жалобы и просьбы тех, дела которых рассматривались в трибунале, измучили высокого гостя, и чтоб забыть тяжесть прав-

ления король захотел выпить, но выпить по своему обычаю, т. е. не в одиночестве, а в товариществе, достойном состязания.

Ещё в Варшаве доходили до короля слухи о необыкновенных способностях пётрковских чиновников и адвокатов напиваться на славу, и так как из лиц, бывших при короле, не нашлось никого, кто был бы достоин сесть с этой целью за королевский стол, то Август приказал призвать к себе того из пётрковских обывателей, который считался самым опытным и самым сильным по этой части.

Лестный выбор при этом случае пал на одного шляхтича по фамилии Кульчиковского, и он явился к королю.

Великорослый и широкоплечий Август II был неприятно поражён приземистым ростом, худобою и бледностью шляхтича, и сперва он подумал, что вероятно приказание его не было понято, а потом у него мелькнула мысль, что не осмелились ли нарочно прислать к нему, в виде поучения, не состязателя, а пример воздержности.

Король насупился и грозным голосом сказал Кульчиковскому:

– Ступай прочь, ты мне не нужен; ты видно сам не знаешь, зачем пришёл ко мне.

– Пусть только вашему величеству, – сказал тщедушный шляхтич, – будет угодно объявить мне свою королевскую волю, и при помощи Всевышнего и при моей безграничной преданности к особе вашей, она будет немедленно исполнена с должною точностью.

– Выпьешь ли ты гарнец венгерского? – спросил Август.

– Отчего же один, а не три, наияснейший государь?

Король смерил глазами с головы до ног шляхтича, который, надобно заметить, занимался хождением по делам в местном трибунале, и насмешливо сказал ему:

– Что же, любезный, или ты вздумал шутить со мной? Посмотри на самого себя: ведь тебя скорее можно положить в гроб, чем посадить за бутылки.

– Осмелюсь доложить вашему величеству, – сказал шляхтич, – у нас в Польше есть старая поговорка: не суди о женщине по чепцу, о коне по сбруе и о человеке по наружности. Вероятно до слуха вашего величества до-

шло уже, что все мы, обитатели Пётркова, с постоянным усердием следуем примеру, так блистательно подаваемому вами, наияснейший наш государь и благодетель; но не хватаясь пред вами, – горделиво добавил шляхтич, – я смело могу сказать, что во всём городе нет никого, кто бы решился помериться со мною за бутылкой.

– Мы сейчас увидим, правду ли ты говоришь, – сказал король и приказал гайдуку принести свой любимый кубок, в который вмещалась кварта, налил его до самых краёв, выпил и передал законоведу.

Шляхтич, принимая кубок, низко поклонился и отвечал на королевский вызов тем, что выпил кубок, не переводя духа.

– Ну, это не дурно, – сказал король, – впрочем, и для меня самого это пустяки, а вот сколько вообще ты можешь выпить таких кубков?

– Расчёт труден; но если ваше величество позволит, то я дерзаю сделать следующее предложение.

– Охотно, говори смело.

– Высоко ценя честь, оказанную мне вами,

наияснейший государь и благодетель, я желал бы за каждым таким кубком, вами выпитым и конечно после того опрокинутым, выпить с ряду по три таких: один в ответ моему королю-государю, другой за драгоценное его здоровье и третий в честь победы, одержанной над шведами.

Королю весьма понравилось предложение шляхтича; он уселся с ним, приказал подавать обедать, и попойка началась.

Кубок переходил из рук в руки; шляхтич в точности исполнял сделанное им предложение, а между тем наступила ночь. Король, не вставая после обеда, положил локти на стол и склонивши на них голову захрапел на всю комнату. Между тем Кульчиковскому всё было ни по чем. Правда, увидев спящего короля, он вышел на цыпочках из комнаты, чтобы не прервать спокойствия своего державного собеседника, твёрдыми шагами дошёл до колодца и велел вылить на себя два ушата холодной воды, а потом, выпив ещё кварту за здоровье короля, возвратился домой.

Пить за здоровье короля не мешало, потому что после описанной здесь попойки он

хворал целые три дни, жалуясь на непомерную тяжесть в голове; а между тем адвокат-шляхтич на другой день внёс бывшее у него дело в трибунал. Все в городе только и говорили о той высокой чести, которой он удостоился, и Кульчиковский всюду находил защитников своей тяжбы; она была выиграна, и обрадованный шляхтич пил снова за здоровье короля.

Но наконец наступила тяжкая пора и для Кульчиковского. Любимый баловень побед, Карл XII, успел восторжествовать в Польше над своими союзниками и победоносно занял Пётрков. Карл XII в отношении образа жизни составлял совершенную противоположность с Августом II, и поэтому, как в видах исправления шляхтича Кульчиковского, так и в наказание за то, что он пил за победы, одержанные над шведами, Карл XII, облагая контрибуциею завоёванный им город, приказал взять в казну свою с адвоката Кульчиковского сумму, равную стоимости четырёх самых больших бочек токая, что составило, по тогдашнему счёту, огромную сумму.

Хотя при последнем короле польском зна-

менитые попойки и стали было выходить из моды, однако любителям их они не ставились в укор, и по этой части славились в то время генерал Конаржевский, гетман Браницкий и каштелян Борейко.

Однажды, в присутствии короля Станислава Августа и известного польского историка епископа Нарушевича, зашла речь о старых польских обычаях и коснулась попоек.

Один из участвовавших в разговоре, желая сказать приятное королю, заметил, что пример воздержания, подаваемый его величеством, весьма много послужил к искоренению этого обычая.

– Правда, – заметил Нарушевич, – теперь у нас уже не то что было при Сасах (так называют по-польски королей из саксонского дома), но и в настоящее время я, среди моих ближайших подчинённых, имею такого, который бы одолел известного некогда шляхтича Кульчиковского: это один дальний мой родственник. И епископ назвал его по имени.

Король и окружавшие его просили епископа познакомить их с такою знаменитостью, и в назначенный день "родственник" был при-

ведён в королевский дворец. Тучность его, заплавленные глаза, красный нос, багровые щёки и хриплый голос заранее предупредили всех в пользу его, и действительно искусством пить он возбудил всеобщие рукоплескания и за подвиги свои получил значительную сумму, которую подарили ему присутствовавшие, а в числе их и сам король пожаловал бернардину 100 дукатов из собственного своего кошелька.

Патриотка

История Польши представляет во все времена много подвигов высокого патриотизма. Самоотвержением для блага родины отличались и женщины, а одна из них, о которой мы здесь расскажем, из любви к ней пожертвовала самым драгоценным для женщины предметом – именно, счастьем любимого ею человека.

Доныне около Ченстохова виднеется холм, окружённый рвами; на холме можно заметить груды камней – это следы старого замка, принадлежавшего некогда известной польской фамилии Валевских, герба Пухала. В царствование Яна Казимира здесь жила вдова скарбника земли рамоской Валевская. Она была молода и очень хороша собой. Понятно, что около такой вдовы, а особенно богатой, роились обожатели; в числе их был и Вацлав Садовский, известный со времени осады Ченстохова, сперва полковник войск королевских, а в то время действовавший в рядах шведских войск против своего отечества. Он был человек вздорный, суетный и корысто-

любивый; надежда обогатиться под знамёнами Карла X, хотя бы и грабежами на собственной родине привлекла его под знамёна иноплеменников. Заносчивый и гордый, он не имел нигде друзей, но своею наружностью, храбростью и умом успел понравиться молодой вдове, ещё прежде своего перехода к шведам. Однако молодая вдова, как и большая часть полек, была истинная патриотка; она ещё при жизни мужа страстно была влюблена в Садовского, но теперь, совершенно свободная, не хотела отдать руки ему потому только, что он из личных видов вредил отечеству.

Однажды, находясь с шведскими войсками около Горшковицы, имения Валевской, Садовский приехал в замок со значительным отрядом шведов, окружил его и вошедши к Валевской сказал ей, что она должна быть его женою, в противном же случае он разорит замок, а её уведёт в Швецию, как наложницу. Действуя таким образом, он рассчитывал на чувство женщины; он знал, что они легко забывают обиды, наносимые им теми, кого они любят, но применяя чувства женщин вообще

к благородной Валевской, Садовский ошибался. Хотя отказывая Садовскому она и действовала против своих сердечных влечений, но любя в нём мужчину, она ненавидела в нём врага своей родины. Она хотела раскрыть Садовскому всю гнусность предательства, смело высказать ему в лицо те проклятия, которыми, по всей справедливости, обременили его соотечественники, и обратить его к долгу гражданина. Но все укоры, все увещания Валевской оставались бесплодными. Садовский, отдав чужеземцам и честь, и совесть, был непреклонен, рассчитывая, как мы заметили выше, на щедрость короля шведского.

Когда Валевская увидела, что всё напрасно, она сказала Садовскому: "Если ты хочешь моей смерти, то сегодня в полночь я буду готова".

Обрадованный уступчивостью Валевской, Садовский не хотел понять истинного смысла её слов и оставив в замке для стражи несколько шведов сам поскакал в соседнее местечко, чтоб пригласить на свадьбу бывших там шведских генералов и офицеров. Они охотно приняли приглашение своего со-

служивца, поздравляли его и весело поехали в замок невесты.

В это время молодая вдова заперлась и долго, долго молилась об избавлении родной земли от владычества врагов и об обращении на путь чести любимого ею человека. К вечеру вышла она из комнаты бледная, расстроенная. Напрасно окружавшие её старались её утешить, она плакала, не говоря ни слова.

Между тем Садовский ехал со шведами и ксёндзом, который должен был совершить брачный обряд, и приноровлял так, чтобы сыграть свадьбу в самую полночь, желая доказать тем ничтожность слов, сказанных Валевской. Он ехал, полный радости и надежд, когда на дороге встретил его посланный к нему, старый слуга Валевской, и отдал ему записку следующего содержания:

"Если боишься Бога и совести, и если не хочешь моей смерти, то возвратись и не желай видеться со мною".

Презрительно улыбнулся Садовский. "Иди к своей пани, – сказал он посланному, – и передай ей, что я не могу исполнить её просьбу; она сама дала слово быть в нынешнюю пол-

ночь моею женою и, конечно, сдержит своё слово".

Слуга поворотил назад и, зная все тропинки, окольную дорогою опередил Садовского и шведов.

Когда посланный возвратился, Валевская стояла у входа одной башни, построенной отдельно от прочих зданий замка, и когда получила ответ Садовского, глаза её заблестали какою-то чудною решимостью.

Она велела всем отойти от башни, а сама вошла на самый верх, желая ещё издали видеть приближение жениха.

Окружённый шведами, весело въехал Садовский на мост, ведущий к воротам замка, и увидев на башне Валевскую низко ей поклонился; но в это время мост задрожал, раздался страшный грохот... Садовский на несколько минут потерял и память, и рассудок, но когда, пришедши в себя, взглянул на башню, где стояла Валевская, то увидел вместо башни груды камней. Взрыв, зажжённый рукою Валевской, уничтожил её, и Валевская исчезла навсегда среди дыма и развалин.

Юзя

Много было и в Литве и в Польше прехорошеньких девочек, которых звали Юзей, но, вероятно, не было краше той Юзи, которая росла незаметно в доме небогатого, но доброго и честного шляхтича Тадеуша Юницкого, владельца одного наследственного и двух небольших арендованных фольварков.

Если и не благословил Всевышний пана Тадеуша особенным избытком, то всё же пан Тадеуш жил в полном довольстве: кладовые его всегда были полны разными съестными припасами, огромные бочки старой водки, пива и мёда и даже несколько бочонков вытравного венгерского стояли в погребу шляхтича, который с настоящим польским радушием принимал приезжавших к нему соседей, приговаривая народную польскую поговорку: "Гость в дом, – Бог в дом".

Радушный хозяин усердно держался дедовских обычаев и преданий, в которых, надобно сказать правду, много было очень хорошего, хотя конечно и не без некоторых недостатков. Пан Тадеуш был образцом настоящего

польского шляхтича прежнего времени, он был честен, добр, весел, ладил с соседями, но высоко однако ценил права шляхты, горячился на сеймиках, побрякивая своею кривою саблею, и не совсем долюбливал жидов, питая в нем какую-то наследственную неприязнь. Кроме того, пан Тадеуш, как коренной шляхтич былого времени, умел и сам хорошо поесть и хорошо выпить и вместе с этим угостить у себя в доме, на славу, всех своих приятелей.

Сверх этих качеств, пан Тадеуш отличался, как истинный сын католической церкви, примерною набожностью: он строго постился, отдавал десятину в костёл и укрощал время от времени порывы своей бунтующей плоти ремённой дисциплиной.

Пан Тадеуш, отец хорошенькой Юзи, и самую важность молитвы понимал по-своему: по убеждению его, чем она была длиннее, и следовательно утомительнее, тем более она должна была иметь действительности. Простодушный пан Тадеуш никак не мог отделить понятие о молитве с понятием об усталости, и поэтому самому он всегда искал слу-

чая, как бы послушать длинные проповеди, потому что они всего более своею нескончаемостью утомляли доброго шляхтича.

Жена пана Тадеуша была тихая женщина, любившая больше всего на свете своего мужа, и потом чистоту и порядок в доме; но однако, когда Бог даровал честной чете, на её радость и утешение, после долгого бесплодия, Юзю, то пани Малгожата (так звали жену пана Тадеуша) сама не знала, порою, кого она больше любит – своего ли дорогого сожителя или маленькую Юзю, которая лепеча ласково протягивала к ней свои пухленькие ручонки.

Жизнь супругов, только изредка, и то по необходимости посещавших лежавшее вблизи от их фольварков грязное местечко, набитое евреями, – текла тихо и однообразно. Летом вставанье вместе с солнцем, а зимою ещё и при свечке, усердная молитва, утренний завтрак, – потому что в ту пору, в которой относится рассказ, чай, как лекарство, продавали только в аптеках, – потом хлопоты по хозяйству, далее – плотный обед, за ним послеобеденный сон, после сна, опять хлопоты хозяйству или чтение душеспасительных

книг, затем сытный ужин, после ужина вечерняя молитва и наконец крепкий сон – были ежедневной принадлежностью в мирной жизни родителей Юзи.

В праздники и при приезде гостей, обычный образ их жизни изменялся впрочем весьма немного. Поездка в костёл, весёлая и откровенная беседа, рассказы о том, о сём, а порою и пляска под скрипку соседа Ицки, разнообразили несколько обычную жизнь небогатой семьи.

Самым ближайшим соседом и самым задушевным приятелем пана Тадеуша был чиншовый шляхтич, пан Криштоф, старый вдовец, у которого, впрочем остался от жены сын, годами десятью постарше Юзи. Когда сыну пана Криштофа минуло семнадцать лет, отец его (не могший дать ему для устройства его жизни ничего, кроме родительского благословения и одного дуката), следуя праотеческому обычаю, разложил парня, как природного шляхтича, на ковёр и собственною рукою отсчитав ему несколько десятков горячих бизунов, то есть ремённых плетей, с наставлением быть всегда честным и покорным

перед старшими, – отпустил его искать счастье в доме одного богатого пана, которому пан Криштоф приходился каким-то весьма дальним родственником. Но в старинной Польше родство, даже самое отдалённое, давало право на покровительство и доброе расположение.

Молодой Вацлав, поклонившись в ноги родителю и с глубоким почтением поцеловав родительскую руку, давшую ему такое практическое наставление для успехов в жизни, отправился верхом из-под родного крова к своему ясновельможному покровителю.

Скоро ли добрался Вацлав до своего покровителя, нам до этого нет дела; скажем только, что когда молодой панич явился к ясновельможному, то последний спросил его:

– А читать и писать умеешь?

– Учился у пиаров [7], – отвечал Вацлав, – и кончил у них риторику.

– Ну тем лучше, – заметил ясновельможный; – а саблей-то ты как?

– Отец учил меня этому, – бойко сказал Вацлав и смело посмотрел на шляхтичей, стоявших около ясновельможного хозяина.

– Хорошо, – перебил хозяин, – посмотрим много ли ты успел в этом, – и обратившись к Вацлаву велел ему идти во двор и там по очереди помериться на саблях с каждым из шляхтичей, живших в доме пана.

Конец испытания был в пользу новопривывшего. Довольный хозяин снова обратился к шляхтичу с вопросом:

– Ну, а понимаешь ли ты что-нибудь в хозяйстве?

– Кое к чему присмотрелся у моего отца, – отвечал Вацлав.

Последний свой вопрос заключил ясно-вельможный следующими словами:

– Ну, а как религия? Хороший ли ты католик?..

И получив на это утвердительный ответ, пан объявил Вацлаву, что он принимает его к себе в службу.

В ту пору в доме каждого польского пана жила много молодых дворян. Они по приказанию пана развозили письма, ездили за ним верхом во время его поездок на охоту, в гости или на сеймик; спали по очереди в комнате перед панскою спальней совсем одетые,

на случай каких-либо особых приказаний пана в ночную пору.

За молодыми шляхтичами, жившими таким образом в панском доме, строго наблюдали, чтоб они не баловались. Несмотря на попойки, которыми так славилась старинная Польша, пить шляхтичу, не имевшему тридцати лет, было стыдно, и потому молодой шляхте, служившей при панских дворах, строго запрещалось пить вино; им не позволялось также играть в карты, и пойманного в карточной игре или били плетью, или заставляли, при всей молодёжи, съесть рубленные карты, приправленные простым соусом, называемым у поляков бигосом. Молодым шляхтичам, служившим в панском доме, не позволено было ни под каким предлогом войти на женскую половину; однако в большие праздники и в именины хозяина, они имели право танцевать со всеми дамами, приезжавшими в гости к их пану.

О науках такая молодёжь вовсе не думала; напротив, если кто-нибудь из среды её принимался читать книги, то над тем беспрестанно подсмеивались, как над монахом, и не

давали ему покоя, и напротив тот, кто показывал удаль, кто умел ловко биться на саблях, метко стрелять из пистолета и смело управлять бешеным конём, тот приобретал и дружбу, и уважение всех своих сотоварищей.

Между тем, как Вацлав жил в доме ясно-вельможного, Юзя росла и хорошела: её светло-голубые глазки делались всё темнее и темнее, её русые волосы, как шёлковые пряди, окаймляли свеженькое личико, на котором белизна, казалось, спорила с румянцем. Подраставшая Юзя, по обычаю всех польских девиц того времени, училась весьма мало; она вытвердила на память несколько молитв, научилась читать не слишком бегло, писать не слишком красиво, обучилась она также и кое-каким незамысловатым, впрочем, рукоделиям; но большую часть года она забавлялась любимой своей кошечкой и ухаживала за цветами, которые она разводила в небольшом садике, бывшем перед домом.

Юзе было лет около двенадцати, когда однажды она с отцом и матерью сидела на крыльце дома. День вечерел, солнце уходило за лес, золотя его вершины; в воздухе стояла

неподвижная тишина, и только порою слышался острый крик стрижа, быстро поднимавшегося к небу. Вдруг пан Тадеуш, заслонив глаза рукою, чтоб защитить их от красноватых лучей погасавшего солнца, сказал жене своей:

– Посмотри, Малгося, никак к нам гости.

Малгожата, прищурив свои узенькие от излишней полноты глаза, посматривала внимательно на дорогу, по которой, как будто лёгкий дымок, поднималась золотистая пыль, пронизываемая последними лучами солнца.

– Да, это к нам, – отвечала утвердительным голосом Малгожата.

Действительно, через несколько минут перед домом пана Тадеуша стояла уже так называемая каламашка, то есть небольшая тележка, и из неё вылезал старый шляхтич, пан Криштоф, и в то же время с лихого вороного коня ловко и проворно соскочил сын его Вацлав.

Четыре года, проведённых Вацлавом вдалеке от родительского дома, мало изменили его; правда, он возмужал, окреп и белокурый ус стал сильнее пробиваться над губами, пол-

ными свежести.

После обычных приветствий пошли расспросы о том, как поживает пан Вацлав; из этих расспросов оказалось, что ясновельможный, к которому он поступил в услужение, и которому, как мы сказали, он приходился каким-то дальним родственником по бабке, если ещё не по прабабке, был вовсе не из числа магнатов того времени, спесиво посматривавших на бедную шляхту и оскорблявших её на каждом шагу своею надменностью, потому только, что она порою терпеливо переносила эти оскорбления. Покровитель Вацлава был человек добрый и сострадательный; он не хотел пользоваться тем, что прихоть судьбы поставила одного человека в зависимость от другого.

Приезжие гости остались ночевать; поэтому весь вечер, а потом и весь следующий день прошёл незаметно в доме пана Тадеуша. Вацлав рассказывал хозяину и хозяйке о Вильне и о Варшаве, в которых они никогда не бывали и на которые взглянуть они крепко желали. Рассказывал им также Вацлав и о тех боевых стычках, в которых ему уже при-

велось побывать, говорил он им и о короле, и о сейме, и мало ли ещё о чем толковал Вацлав хозяину и хозяйке, слушавшим его рассказы с жадным любопытством деревенских жителей.

На другой день, когда, как говорится, спал жар, Вацлав собрался с своим отцом в дорогу. Вороной конь Вацлава стоял у крыльца, выбивая копытами землю.

Вацлав, прощаясь с хозяевами, провожавшими гостей, вышел на крыльцо. Он был, что называется, настоящий молодец; а старинный польский наряд придавал ему ещё более удали. На Вацлаве был жупан из кармазинного сукна, застёгнутый у шеи позолоченными запонками, синий суконный кунтуш с шестью большими пуговицами, выточенными из кровавика. И кунтуш, висевший за плечами на толстом шёлковом шнуре, и жупан были обшиты серебряными галунами. Кривая сабля висела с боку; голову Вацлава покрывала надетая ухарски набекрень небольшая шапка из голубого бархата, с околышком из крымской овчины.

Радужные хозяева провожали своих го-

стей, а пан Тадеуш с большим кубком венгерского приставал к Вацлаву, прося его выпить на дорогу.

– Не пора мне ещё пить, – отвечал Вацлав хозяину, – ещё молод я для этого, но так и быть выпью этот кубок, если только ты, пан, позволишь мне его выпить за здоровье моей невесты; – и при этих словах Вацлав показал на Юзю, которая тоже вышла на крыльцо провожать гостя.

Все засмеялись.

– Хорошо, хорошо, пан Вацлав, – говорил пан Тадеуш, подавая ему кубок; – пей за здоровье невесты; только смотри не позабудь её; ведь верно и в Вильне и в Варшаве найдётся много паненок, которые будут и попривоже и побогаче моей Юзи.

– Увидишь, пан, – отвечал Вацлав, – что шляхтич – господин своему слову; – и затем, пожелав здоровья своей будущей невесте, Вацлав разом осушил кубок, ловко вспрыгнул на коня, и держа одною рукою повод, а другою поправляя шапку, сказал смеясь Юзе.

– Смотри же Юзя, – помни своего жениха, через пять лет я за тобой приеду! – и пришло-

рив коня, он быстро поскакал по дороге. За ним в своей каламашке покатил и пан Криштоф. Долго смотрели хозяева вслед отъехавших гостей, от души желая им и здоровья и счастья.

Пошёл опять год за годом. Старик Криштоф часто навещал своего соседа и с подробностями рассказывал ему о своём сыне, который сделался первым любимцем богатого магната. Между тем Юзя подросла и сделалась прехорошенькой невестой; жизнь её шла по-прежнему, только меньше она забавлялась кошкой, но зато больше цветов разводила она каждое лето. Думала ли она о Вацлаве, или нет, – Бог её знает; только Вацлав не забывал, как видно, своей невесты, потому что он сдержал своё слово. Едва, как говорят поэты, наступила для Юзи семнадцатая весна, как Вацлав опять со своим отцом приехал в дом Тадеуша, чтоб выполнить своё слово. Мы не станем описывать красоты Юзи, не потому что у всякого есть свой вкус и что следовательно Юзя, пожалуй чего доброго, иному и не понравится, но потому, что описание наше не представит вполне той кротости и той

привлекательности, которыми отличалась Юзя. Мы расскажем только о том, как окончательно сладилась свадьба Вацлава.

В первый день приезда Вацлава, отец его, после ужина, объявил отцу Юзи, что сын его просит руки его дочери; и когда отцы тут же согласились между собою, то жених, по стародавнему польскому обычаю, упал в ноги своей невесте.

От помолвки и до свадьбы срок в прежнее время был недолог; но между разными хлопотами, которыми обыкновенно бывают озабочены родители в это время, пана Тадеуша занимала в особенности забота о том, где бы достать для Юзиной свадьбы самого лучшего мёду.

В Литве, где жил пан Тадеуш, вёлся обычай, что если основывалось какое-нибудь новое иезуитское учреждение: кляштор ли, больница ли, училище ли, то отцами-иезуитами назначался торжественный день для открытия и для освящения нового учреждения. К этому дню привозили из Полоцка: бочку баторина, то есть мёда, приготовленного иезуитами в то время, когда был заложен в Полоц-

ке королём Стефаном Баторием иезуитский коллегіум. Огромная бочка этого мёда висела, в месте своего рождения, на толстых железных цепях, тщательно сохраняемая в монастырском подвале. Привозимая же из Полоцка бочка, налитая этим мёдом, была краеугольным камнем всех питейных запасов нового иезуитского учреждения и поэтому она принималась отцами-иезуитами с особым, подобавшим ей почётом. Привезённый из Полоцка мёд употреблялся первый раз при открытии нового иезуитского учреждения, и потом при праздновании каждой его годовщины; кроме того мёд этот употреблялся в именины ордена, то есть в день св. Игнатия Лойолы, и в известных, важных случаях выдавали его не в слишком большом количестве особенным благодетелям иезуитского учреждения, а также и первым его основателям и их нисходящим потомкам; последним впрочем только тогда, когда они были больны лихорадкой. Взятое количество мёда тотчас же доливалось самым старейшим мёдом, бывшим в подвалах отцов-иезуитов.

Запасшись, при содействии своих покров-

вителей, эту драгоценностью, пан Тадеуш уже не видел никакого препятствия в празднованию брака Юзи, и поэтому послал, как это водилось в прежнее время, даже в самые далёкие места запрашивать на свадьбу своей дочери всех, кто приходился ему каким бы то ни было родственником.

Юзя полюбила Вацлава. Нужно ли говорить о том, что каждая девушка, покуда не наступила минута брака, ждёт её с нетерпением; она представляет в своём воображении счастливую жизнь замужества, важность хозяйки дома, свободу женщины, вышедшей из-под той зависимости, в которой она находилась прежде, будучи девушкой. Она беспрестанно занимается хлопотами около приданого, и в этих хлопотах находит для себя и развлечение и забаву; её воображение полно самых сладких грёз, среди которых ей видится она сама в венке из белых цветов.

Но когда наступает пора расставания с родимой кровлей, тогда сердце берёт верх над воображением. В сердце девушки возникают дорогие и милые для неё воспоминания и она, как бы навсегда расставаясь с ними, чув-

ствует какую-то невольную, неодолимую грусть. Ей делается жаль своей скромной горенки и любимого уголка в родительском доме, и выращенных её заботою цветов; с печалью вспоминает она о ласках отца и матери; ей становится жаль и добрых подруг и верных слуг; всё прошлое вдруг оживает перед нею в каком-то обольстительном свете, и она, со слезами на опущенных ресницах, стыдливо подаёт жениху свою дрожащую руку.

Накануне Юзиной свадьбы справили в доме пана Тадеуша по старопольскому обычаю девичник. Вечером в этот день, в ярко освещённой комнате, подруги невесты уселись в тесный кружок готовить для неё венок из розмаринов. Мужчины были в этот вечер на половине, отведённой для жениха, и пили венгерское. К ужину собрались все гости в одну комнату, а в числе их был и знатный пан, покровительствовавший Вацлаву и полюбивший его, как сына. Приехала также на Юзину свадьбу и вдова одного богача-воеводы, считавшаяся какой-то троюродной тёткой жене пана Тадеуша.

Когда вошёл почётный гость, то невеста,

по старому обычаю, низко поклонилась ему, а он поцеловал её в голову и благословил её. Жених, в свою очередь, поклонился в ноги вошедшей знатной пани и получил от неё позволение поцеловать её руку.

После продолжительного ужина, окончившегося одного рано, потому что за ужин принялись спозаранку, – начались танцы; жених в этот вечер не имел нрава не только говорить с своей невестой, но и не смел даже подходить к ней.

Поздно разъехались и разошлись гости по отведённым им хатам и комнатам.

Наступило ясное летнее утро. После тревожной ночи Юзя на рассвете крепко уснула; крепко также спали все гости; не спала только пани Малгожата: грустно ей было при мысли, что она должна будет расстаться с своей Юзей, и она едва сдерживала навёртывавшиеся у неё на глазах слёзы.

Тихо, на цыпочках, вошла пани Малгожата в комнату своей дочери. Всё было просто в этой комнате: белые стены, чистый пол, ситцевый полог над кроватью, а на стене образ Богоматери, окружённый венком из свежих

роз; на окнах расставлены были горшки цветов.

Мать стала на колени перед образом, которым её самую благословил отец перед выходом её в замужество и который потом она повесила над колыбелью Юзи.

Едва пани Малгожата кончила свою усердную молитву, как целый рой весёлых девушек влетел в комнату Юзи; это были её подруги. Они держали в руках корзины, полные цветов, на которых ещё висели светлые крупные капли утренней росы, и вся комната наполнилась свежим запахом роз, сирени и жасмина. Девушки звонким смехом разбудили Юзю и поздравили её с наступившим днём брака.

Между тем на дворе, несмотря на раннее утро, раздавался стук экипажей и слышалось хлопанье бичей; в ту пору, по старинному обычаю, и хозяева и гости вставали слишком рано.

Магнат и знатная пани, удостоившие своим посещением свадьбу Вацлава и Юзи, хотели, чтоб обряд венчания был совершен с соблюдением всех старинных польских обыча-

ев. Поэтому, когда стали одевать молодую к венцу, то её посреди комнаты посадили на кадку с опарой, покрытую богатым ковром и соболем, привезёнными ясновельможным паном в подарок молодой. Дружки расплели Юзе косу и надели на неё белое платье, украшенное букетами цветов и кружевами. У Юзи не было ни дорогих камней, ни золотых безделушек; но их, впрочем, по тогдашнему польскому обычаю и не надевали даже на самую богатую невесту, так как, если б она надела их, то это было бы знаком ожидающего её несчастья и горя. Точно также не надевали на невесту, по тому же самому поверию, ничего красного, ни чёрного.

Платья для молодой и для четырёх её друзей доставила пани-воеводова в подарок. В ту пору это был обычай, ни мало не считавшийся оскорбительным.

Между тем все гости собрались в самой большой комнате дома; двери отворились и две прехорошеньких девочки, кузинки невесты, внесли на подносах маленькие букеты из мирта и розмарина. Они бойко подбегали к холостым мужчинам, пришиливали к их

кунтушам эти букеты и желали им жениться. Некоторые, принимая из ручек хорошеньких подросточков букеты вероятно думали про себя: "подожди, плутовка, я женюсь тогда, когда ты сама вырастешь, – ждать недолго, годика три, четыре!" Раздав холостякам букеты, резвушки побежали опять в комнату невесты.

Спустя несколько времени растворились обе половинки дверей и вошла молодая, в сопровождении своих двух близких родственников; за нею её кузинки несли на блюде миртовый венок. Мать надела этот венок на Юзю, и в это время у Юзи слёзы, как брильянты, посыпались из опущенных вниз голубых глаз; после благословения Юзи отцом, мать положила ей за пазуху венгерский червонец с изображением Богородицы. Юзя упала в ноги отцу, жених сделал тоже.

– Да благословит вас Бог! – сказали разом все голоса, и следом за молодыми вышли на крыльцо, чтоб отправиться в костёл.

По принятому тогда обычаю, дамы поехали в экипажах, мужчины верхом; в костёле и жених и невеста стояли отдельно. Из костёла молодые вернулись уже вместе, сидя рядом в

карете. Обед ждал их. Жениха и невесту посадили на первое место и начался весёлый обед.

После обеда, пожилые гости принялись за венгерское, а молодёжь за танцы. Началось, по обыкновению, с польского; почтенный гость взял молодую, прошёлся с нею и потом передал её руку Вацлаву. В это время один из родственников Юзи, препожилой адвокат, обучавшийся сперва у иезуитов, выступил с поздравительною речью; вся напыщенная и восторженная речь адвоката, в которой перечислялось родство жениха и невесты с наиболее знаменитыми фамилиями в Литве и Польше, и превозносились добродетели родителей брачной четы – была перемешена латинскими фразами и изречениями вроде следующих: *uxor bona corpora caritatis*, т. е. добрая жена есть венец главы и пр.

После продолжительной речи, которую все гости слушали с желанием, чтоб она поскорее кончилась, начались непрерывные танцы и между ними весёлая мазурка, в таком виде, в каком танцевали её в старинной Польше.

Каждый кавалер, без различия возраста,

брал ближайшую к нему даму и становился в общий круг; девицы нежно брались за платице и выставляли вперёд свои маленькие ножки. Раздались первые звуки мазурки и несколько пар разом ринулось в середину круга. Задрожала комната от притоптывания каблуками, и быстро понеслись девушки, извиваясь, как змейки, около молодеватых кавалеров. Мазурка привела в восторг всех, и даже самые дряхлые старики, стоя на месте, били ногами в такт и от удовольствия хлопали молодёжи в ладоши, в знак поощрения.

Долго длились танцы; за ними начался ужин. За ужином, как и за обедом, дамы уселись по одной, а мужчины по другой стороне стола. Весёлый говор и смех не прекращались ни на минуту. Во время ужина пили опять за здоровье молодых и втихомолку от молодых желали побывать у них на крестинах.

После ужина, в полночь, молодая ушла незаметно из комнаты, где были гости; а час спустя проводили к ней в спальню с музыкой и молодого. В комнате перед спальней был накрыт стол, а на нём стояли сласти. Мужчины с рюмками в руках пожелали молодым

здоровья...

Всё это весьма часто бывало в прежнее время, которое многие безусловно хвалят и за бывшую в ту пору скромность, и за царствовавшее тогда строгое благочестие; но которое однако, как заметил один польский писатель, "всё-таки не было так скромно и так благочестиво, как твердят о нём молодым старые люди". В ту пору, по словам этого писателя, крепко пили, ссорились, дрались, венчались для приданого или для протекции, и весьма часто разводились вскоре после брака.

Быть может, что и это несомненная правда; но мы также знаем и то, что Вацлав и Юзя обвенчались без всякого расчёта, что на их свадьбе никто ни с кем не поссорился и не подрался, хотя и надобно сказать правду, что вследствие мёда и венгерского многие гости не могли привстать с своих мест. Знаем также и то, что Вацлав и Юзя прожили дружно и счастливо слишком тридцать лет, и что они оставили после себя целую дюжину детей, – дочерей похожих на мать, а сыновей – на отца.

Четыре мешка

На Подоле ещё донныне среди простонародья слышатся в песнях и в преданиях рассказы о старóсте каневском [8], ясновельможном пане Николае Потоцком; много также сохраняется в Польше и в Литве разных анекдотов и повествований о его странностях и причудах; а один из его современников, Карпинский, описал подробно всю жизнь старóсты каневского. Если верить книге Карпинского, старóста каневский был каким-то извергом, потому что он, по словам своего биографа, собственною рукою убил, по крайней мере, сорок человек. Впрочем, такие рассказы не могут заслуживать доверия. Карпинский, как известно, был противником Потоцкого в политических стремлениях; он принадлежал к партии короля Станислава Понятовского, с которым так настойчиво боролся Потоцкий. Притом и народные предания, рассказывая о многих проделках ясновельможного пана, не упоминают о таких жестокостях, но представляют Потоцкого только каким-то чудаком и забиякой, каким он и был на самом деле.

Много можно привести рассказов о странностях своевольного магната, между прочим о том, как он жил среди базилианских монахов в Почаеве, как он лечил их, как он там каялся и сокрушался сердцем о своих грехах. Тело Потоцкого, умершего 15 июля 1782 года, доныне ещё лежит в том же монастыре.

Любимым местопребыванием пана Николая Потоцкого было наследственное его местечко Бучач на Подоле. Местечко это расположено среди самых живописных окрестностей, на реке Стрыпе. Здесь, по низменным берегам извилистой реки, текущей между холмами, виднеются среди зелени пирамидальных тополей несколько костёлов, базилианский монастырь, ратуша и сотни полторы небольших домиков, рассеянных по холмам и по долине.

В стороне, над местечком, на высокой горе, поросшей плотным кустарником, стоят ещё и теперь развалины огромного и некогда великолепного замка: здесь жил староста каневский. Невдалеке от местечка находился ещё в былое время другой небольшой замок, в котором, среди тоски и горя, провела свою жизнь

жена старобы, Мария Анна, славившаяся в околотке красотою и добротою сердца. В то время, когда замок Потоцкого оглашался шумными пирами, весёлыми криками и нечестивыми потехами, в жилище его жены слышались только тихие молитвы.

Весело, правда на свой лад, жил старобы в Бучаче; однако и ему один раз, по милости четырёх мешков, привелось испытать такое неожиданное, страшное горе, о каком он, конечно, никогда не мог даже и помыслить.

Дело началось, для того времени, очень просто.

Недалеко от местечка, в котором пировал и своевольничал Потоцкий, стояла на большой проезжей дороге корчма. Был жаркий летний день; солнце палило удушливо; в неподвижном воздухе было так тихо, что золотистая рожь, дозревавшая по окраинам большой дороги, не колыхалась даже ни одним колосом. Проезжих в такой жар не было; все бежали от солнечного припека в прохладную тень и укрывались там, ожидая, когда спадёт дневной жар, чтобы отправиться дальше в дорогу. Поэтому, в растворённые на-

стежь ворота корчмы никто не въезжал в это время.

На дворе корчмы стоял конь, привязанный к деревянной колоде; а на столбе, близ колоды, были развешаны седло, подпруга, уздечка, пара пистолетов и сабля. По всему этому видно было, что в корчму заехал освежиться какой-нибудь странствовавший шляхтич.

Действительно, в одной из комнат корчмы – молодой, высокий и плечистый мужчина добывал из дорожного вьюка разные мелкие принадлежности, необходимые в пути. Пересмотрев в порядке ли всё имущество, шляхтич хотел прилечь отдохнуть, как вдруг на дороге, а вслед затем и под самыми окнами корчмы, слышались конский топот и шум въехавшего в ворота тяжёлого экипажа.

Известно, что содержатели корчм всегда радуются заезжим гостям. Но на этот раз Ицко, содержатель прибувачской корчмы, сунувшийся было в окошко, отскочил от него, как ошпаренный, и бледный, трясясь всем телом, едва мог вскрикнуть: "ай, вай! старóстес!" С этими словами он опрометью кинулся из корчмы.

В сенях между тем раздалось множество голосов и послышались грозные крики на растерявшегося Ицку.

Шляхтич, услышав шум, раздумал уже ложиться отдыхать и в ожидании вновь прибывших путников уселся на лавке подле стола. Вдруг дверь широко распахнулась. Ицко показался на пороге; одной рукой он держался за дверную скобку, в другой руке была у него ермолка, которую он, низко нагибаясь всем телом, опускал до самого полу, в знак своего уважения к шедшему следом за ним путешественнику.

Вошедший за Ицкой мужчина был человек уже пожилой, высокого роста; голова его была выбрита и только на макушке висел длинный чуб; длинные усы закрывали ему рот, глаза смотрели сурово. Лоб и толстый подбородок были покрыты множеством глубоких морщин. На нём был надет суконный кунтуш фиолетового цвета, доходивший до колен, с рукавами наотлёт; под кунтушем был атласный жупан светло-небесного цвета, застёгнутый под шеей брильянтовой запонкой. Опоян он был литым серебряным поя-

сом, с золотой бахромой наперед; у пояса, на шёлковой тесьме, была привешена кривая сабля с дорогой рукоятью.

Когда вошёл новый гость шляхтич встал с места, сделал несколько шагов вперёд и отвесил вошедшему пану низкий поклон.

– Откуда и зачем едешь один? – спросил грозно важный пан.

– Служил я при дворе покойного каштеляна Коссаковского, – отвечал почтительно шляхтич.

– Так-то... – проговорил протяжно пан.

– Да, ясновельможный, – перебил шляхтич, – я служил у разных панов, и служил у них и верно и честно.

– Порядочный слуга не трёт углов по корчмам! – крикнул сердито староста.

– Я делаю это только во время дороги, – пробормотал оробелый шляхтич, – видит Бог, не иначе, ясновельможный пан.

– Знаю, знаю, и камень прирастает к месту, а ваш брат любит шляться с места на место.

– Что ж делать, ясновельможный! Человек ищет себе хлеба, и потому делает то что при-
нуждён делать.

– Да кто ж тебя-то, брат, принуждает? Ведь ты сам говорил, что у тебя было место?

– Да; но Бог скоро прибрал в свою славу нашего пана; всем нам пришлось промышлять о себе, и теперь я ищу куска хлеба.

– А зачем искать? – спросил грозно Потоцкий. – Разве мой хлеб твёрд для твоих зубов?

– Высоки пороги у ясновельможного пана, а я человек неважный, – отвечал смиренно шляхтич, почтительно кланяясь Потоцкому.

– Ничего, брат, это ничего, – заметил Потоцкий, – если идёшь собирать грибы, клади каждый гриб в корзину; а то ваш братъ объезжает мой двор, как будто в нём чума.

– Если б я мог пригодиться на что-нибудь ясновельможному пану, – поспешил заметить шляхтич.

С этими словами он опустил смиренно глаза, низко нагнулся и прикоснулся к старобсте ниже колена тремя пальцами.

– Разве годится так шляться? едешь как какой-нибудь старый дед с торбой! Что у тебя здесь? – спросил вдруг старобста, взглянув на дорожный вьюк шляхтича.

– Пустяки, ясновельможный пан, – так,

разные вещички, необходимые в дороге и для лошади и для человека.

– Это хорошо, – заметил снисходительно Потоцкий. – Что ж у тебя там?

– Скребница, щётка, гребень, бритва, есть кое-что из белья и из платья, а также кусок полотна и кусок кожи для заплаток.

– А ножницы есть?

– Есть, ясновельможный.

– А иголка, нитки, шило, дратва?

– И это есть, ясновельможный.

– А обсечка для подков, а щипцы, а молоток?

– И это есть, ясновельможный.

– Покажи же мне всё это.

– Будто бы вашей милости угодно видеть всю эту дрянь?.. – отвечал шляхтич, заминаясь и почёсывая свой чуб.

– Покажи, покажи, любезный, – повторил приветливо Потоцкий, – я хочу убедиться не врешь ли ты.

Шляхтич развязал свой мешок, вынул оттуда всё то, что спрашивал у него ясновельможный и разложил на столе своё имущество. Староста пересмотрел всё с большим

вниманием.

– А где шнипер, чтоб кровь пускать? – вдруг грозно спросил Потоцкий, пристально взглянув на шляхтича.

Шнипера не оказалось.

– Что ж ты, братец мой, будешь делать, заговорил ясновельможный, – если у тебя конь захворает в дороге, да особенно в такие жары? – Настоящий шляхтич, – продолжал поучительным голосом Потоцкий, – должен иметь при себе всё, что может понадобиться в дороге и для человека и для лошади. Ты должен был иметь для лошади шнипер, а для себя ложку, нож, вилку, соль и перец. Где ты всё это достанешь в дороге? У тебя всего этого я что-то не вижу. Так какой же ты шляхтич, если ты не имеешь при себе всего необходимого? Эй! Иванка! – крикнул староста, отворивши дверь в сени.

На зов пана вскочил в комнату огромный детина и остановился, как вкопанный, ожидая приказаний.

– Взять его, – пусть попляшет, – сказал грозно Потоцкий, показывая на шляхтича. – Он уж имеет от меня грамоту; нужно только

приложить печать. Сорок плетей ему, – не больше!

Казак опрометью кинулся за своими товарищами. Шляхтич тоже было кинулся в двери за своей саблей, но не успел добежать до неё, как его обступила толпа казаков. С храбростью ничего не сделаешь против силы. Как ни отбивался, как ни барахтался шляхтич, казаки повалили его на землю; двое сели к нему на плечи, двое держали за руки и четверо за ноги. Началась расправа. Потоцкий молча смотрел на это.

– Ясный пан! Видит Бог, что я шляхтич! Ой, ой! – кричал наказываемый.

Не помогло ничто. Он получил сполна назначенное ему число плетей.

– Это, брат, ничего, – сказал Потоцкий, махнув рукой в то время, как шляхтич приподнимался с ковра, – это ничего; ты молокосос, а я старик, – помни, ты сам поблагодаришь меня за науку; она в лес не убежит.

Казалось, затем только и приезжал ясно-вельможный в корчму, потому что тотчас же после этого из ворот корчмы выкатила запряжённая шестериком коляска; в ней, полулё-

жа, сидел Потоцкий; шесть казаков ехало впереди экипажа и столько же сзади. Послышались потом конское ржание, гиканье, хлопанье бичей, и весь поезд понёсся вихрем по пыльной дороге.

Отъезжая от корчмы, Потоцкий дружески кивнул шляхтичу головой на прощанье. Бедняк стоял как ошеломлённый; он не мог ещё придти в себя, и сам не знал что с ним сделалось.

Кое-как добрался шляхтич до корчмы; пуститься верхом в дорогу не было никакой возможности. Заботливый Ицко натаскал в комнату сена и уложил на него шляхтича. Закрывшись плащом, шляхтич охал и скрежетал зубами. В течение нескольких дней Ицко имел попечение о его коне, а жена Ицки грела вино с мылом, и этим целебным составом натирался несчастный шляхтич, проклиная в душе виновника своих бед.

Между тем в то время, как в корчме лежал шляхтич, туда явился пан Юзеф, старинный приятель больного шляхтича. Он возвращался домой и зашёл в корчму для того только, чтоб закурить свою трубку. Увидав на дворе

знакомого вороного коня с белой отметкой на ноге и со стрелкой на лбу, он догадался, что в корчме должен быть его приятель, владелец этого коня, пан Ян. Пан Юзеф поспешил навещать своего старого товарища.

– Что с тобой сделалось, пан Ян? – спросил Юзеф.

– Болен я не болен, но дал мне знать себя этот каневский пёс, – проворчал шляхтич, – отнял он у меня и хлеб и здоровье. Пусть его за меня Господь Бог накажет, да только хорошенько!

– Знаю, знаю, – заметил пан Юзеф, – мне кое-что порассказал Ицко о твоём несчастье. Слушай же однако, – продолжал пан Юзеф, – ведь ты будешь никуда негодная баба, если не отплатишь Потоцкому своей обиды!

– Да что ж я-то сделаю?.. – возразил печальным голосом шляхтич, – он сильный пан, ездит всегда с огромной дворней, а я человек ничтожный, одинокий.

– Как будто мы с тобой хуже чем-нибудь Потоцкого! – с гордостью возразил пан Юзеф, – да разве мы с тобой не такие же шляхтичи, как он! Ведь ты знаешь пословицу:

"Шляхтич в огороде равен воеводе".

– Знаю, знаю, – пробормотал пан Ян, повёртываясь с трудом на сене.

– Лежи спокойно и слушай что я расскажу тебе, – заметил Юзеф. – С этими словами, он подвинул скамейку к сену, на котором лежал его хворый приятель, и начал рассказывать следующее:

– Староста поставил около Бучача каменный столб с изображением Божией Матери и дал обет сидеть под этим столбом каждую субботу и собирать подаяние. Сидит он там одетый не так, как всегда, а наряжается для этого в лохмотья, привешивает длинную седую бороду и привязывает по бокам сумы, – переодевается он так, что его не легко и узнаешь. Он делает вид, будто молится и просит подаяния, а на самом-то деле он подслушивает, что говорят и как отзываются проезжие насчёт разных его остроумств, которые он велел написать на столбе. Когда выздоровеешь, не забудь об этом и отплати ему хорошенько. Ты ведь и сам по себе парень здоровый, справишься с ним и один: а если хочешь, пригласи меня, да ещё одного из своих товарищей.

Когда нам удастся расправиться хорошенько со старóстой, мы хорошенько погуляем в Теробовле, а побудем говеть у отцов-августиа-нов.

Ян не отвечал ничего, но только раздумывал над рассказом своего доброго приятеля.

– Да разве он тебя только одного так обидел! – продолжал пан Юзеф. – Что он обидел нашего брата, бедного шляхтича, так тут нет ничего удивительного; а то ведь и равному себе он не даёт спуску. Верно ты слышал, как он съехался однажды на мосту с паном Калиновским, старóстою винницким, и приказал ему уступить дорогу, а тот, такой же сорванец как и он, не исполнил приказания; Потоцкий, имея при себе более дворни, нежели Калиновский, приказал вытащить его из коляски, разложить на дороге и всыпать ему сто пятьдесят плетей. Правда, что вследствие этого была у них большая тяжба; выиграл её, конечно, Калиновский, которому Потоцкий должен был заплатить двести тысяч злотых за бесчестье. Да на что Калиновскому деньги? он и сам богач; старóста винницкий даже их и не тронул, а приложил к ним ещё столько

же своих, да на все эти деньги и построил монастырь во имя Богоматери. Оттерпелся, значит, во славу Божию. – Но, знаешь, староста каневский боится смерти, потому что, как он сам говорит, ему приведётся непременно попасть в когти дьяволу; он всё вытерпит, только б не убили его.

Рассказав всё это своему приятелю, пан Юзеф набил снова трубку, закурил её, пожал дружески руку пану Яну и уходя сказал ему: "Да не нежься долго, а то мне за тебя будет стыдно".

После отъезда приятеля из корчмы, шляхтич то лежал, то ходил по комнате, и когда заметил, что он уже может отправиться в путь верхом, оседлал своего коня, уложил все свои безделки в мешок, припоминая сколько они наделали ему горя, рассчитался с добрым Ицкой и осторожно сев на своего скакуна пустился далее во имя Божие.

После рассказанного происшествия прошло несколько недель, а быть может прошло даже и несколько месяцев. Шляхтич уже изредка думал о том, как бы отомстить магнату за нанесённую обиду; он нашёл для себя

очень хорошее место при дворе какого-то воеводы, который полюбил его и оказывал ему большое доверие.

Случилось однажды, что воевода отправил куда-то с письмом пана Яна; при этом ему нужно было ехать через Бучач, где жил в то время староста каневский. Тут вспомнил пан Ян завет своего доброго приятеля – отомстить оскорбителю. Недолго думал об этом сметливый шляхтич. Сделал он себе из холста четыре большие мешка: в один из них он насыпал ячменных круп, в другой гречневых, в третий гороху, а в четвёртый пшённых круп, всё это вложил в дорожный вьюк и не без цели отправился по дороге в Бучач, приноровив так, чтобы там непременно быть в субботу.

Подъехал шляхтич к местечку, и когда приблизился к столбу, на котором было поставлено изображение Богоматери, то увидел, что на ступенях под этим столбом сидит в лохмотьях какой-то старикашка, а около пояса у него было с каждой стороны по большому мешку.

Быстро взглянул шляхтич на старика своим соколиным взглядом и тотчас догадался

кто такой был этот попрошайка. Забилося крепко сердце шляхтича, когда он увидел пред собою предмет своего давнего мщения.

– Да будет похвалено имя Господне! – сказал шляхтич, поравнявшись со старикашкой.

– Во веки веков, – отвечал седобородый, низко кланяясь путнику.

Хриплый голос старика окончательно убедил шляхтича, что это был тот самый, с кем он хотел переведаться. Шляхтич слез проворно с лошади и привязал её к дереву. Между тем старик громко и с воздыханиями читал "Отче наш". Шляхтич, слезши с коня, стал рыться в своём дорожном вьюке и, вытащив оттуда один за другим приготовленные мешки, сказал:

– Давай-ка, дедушка, свою торбу; я тебе насыплю ячменных круп, а ты помолишься за душу раба Божьего Яна.

– Пошли ему, Господи, царство небесное, – отвечал старик, подставляя прикреплённую у бока суму.

Шляхтич всыпал туда ячменных круп доверху, а старик завязал крепко-накрепко свою суму, перегибаясь на бок от её тяжести.

– Ну, дедушка, – сказал снова шляхтич, – подставь теперь другую торбу; достанешь ты гречневых круп, за душу рабы Божией Катерины.

Старик подставил суму, прикреплённую с другого бока; шляхтич насыпал туда гречневой крупы до верху, а старик крепко завязал суму, которая потянула его на другой бок.

– Ну, дедушка, – сказал шляхтич, – давай теперь третью суму, я насыплю тебе гороху, а ты помяни раба Божьего Францишка.

С трудом, от тяжести двух сум, наполненных уж крупю, повернулся старик спиною к шляхтичу. Оказалось, что у него назади была третья торба.

Насыпал шляхтич эту торбу горохом до верху, и уже сам завязал её как можно покрепче. Старик едва стоял на ногах под тяжестью сделанного ему подаяния.

– Ну, дедушка, – сказал шляхтич, – подставь теперь четвёртую торбу; я насыплю тебе пшённых круп, а ты помолишься за душу Матеуша.

Но четвёртой сумы у старика не оказалось.

– Так ты вот какой, старый бездельник! –

грозно крикнул шляхтич, – народ возвращается теперь с праздника, хочет подать милостыню во имя Богоматери, а у тебя нет и торбы, куда б положить подаяние! Ах ты, негодяй! Постой же, вот я сейчас выучу тебя!..

С этими словами, шляхтич вытащил из-за пояса пребольшой арапник. Старик с крепко привязанными к нему сумами не мог двинуться с места; вдобавок он запутался в своих лохмотьях. Здоровый и молодой шляхтич осилил его в минуту, и повалив на землю принялся отсчитывать ему сплеча две сотни ударов арапником. Потоцкий вертелся и ёжился как вьюн, но не кричал, а только сопел, пыхтел и скрежетал зубами.

– Будь теперь здоров, – дедушка, сказал шляхтич, затыкая арапник за пояс, – помни, быть может ты когда-нибудь поблагодаришь меня за науку; сам ты знаешь, что наука не волк: в лес она не убежит. Помни также, дедушка, – добавил шляхтич, кивнув дружески Потоцкому головою на прощанье, – что какою мерою ты меряешь, такую же тебе возмерится.

Сказав это шляхтич сел на своего скакуна:

пыль взвилась под конскими копытами, и шляхтич скрылся на большой дороге.

Отвязав кое-как свои торбы, старик кинулся в свой замок, и сбросив там с себя лохмотья созвал своих надворных казаков и крикнул им:

– Эй, ребята! Сейчас через Бучач проехал шляхтич на вороной лошади, в синей шапке. Догоняйте его! А тот, кто приведёт его ко мне, получит любого коня из моих табунов и в придачу сто червонцев.

Как вихрь помчались казаки в погоню за шляхтичем. Уверенный в том, что его нескоро ещё будут преследовать, шляхтич ехал уж шажком за Бучачем, когда вдруг на него с гиком налетели со всех сторон казаки. Шляхтич притворился, что он ничего не знает, не ведает.

– С чего вы вздумали разбойничать на большой дороге? – крикнул он казакам, и обнажил свою саблю.

Но казаки припёрли его ко рву, конь шляхтича споткнулся и упал. Дело вышло плохо. Казаки схватили его; крепко стянули верёвками и ремнями по рукам и по ногам и поло-

жив, как барана, на две лошади потащили его в замок на расправу.

С удивлением узнали возвратившиеся казаки, что пан их сделался вдруг болен и что он слёг в постель, чего с ним от роду не бывало. Один только шляхтич смекал причину болезни ясновельможного, но не говорил ничего. Когда донесли Потоцкому, что беглец пойман, то он приказал привести его к себе. Обмер шляхтич и пошёл на верную погибель. Когда он вошёл в спальню, где лежал староста, то Потоцкий велел шляхтичу подойти к постели, и сказав казакам: "Накормите лошадей!", бросил им мешок червонцев. Обрадованные казаки выбежали опрометью из комнаты, а Потоцкий, вперив свои глаза в бедного шляхтича, спросил его как-то рассеянно:

– А что, узнал теперь ты меня?

– Не имел ещё счастья никогда встречаться с вашей милостью, – отвечал бойко шляхтич, почтительно кланяясь магнату.

– Не лги, братец! – заметил староста, – мы с тобой знакомы давно, да я-то на беду променял быка на индейку, да вот ещё даю тебе и

это в придачу.

С этими словами, вынувши из шкатулки коробку, опечатанную с двух сторон, Потоцкий бросил её шляхтичу в шапку.

– Сосчитаешь это дома, – сказал он, – но, братишка, смотри, если ты хоть кому-нибудь, если даже хоть матери родной, расскажешь о том что между нами было, то не будь я Потоцкий, ежели я не велю отсчитать тебе столько же плетей, сколько я получил от тебя сегодня... а теперь поезжай с Богом!..

Задумался шляхтич, и не отвечая ничего, почтительно поклонился Потоцкому и затем вышел из его спальни.

Только за Бучачем опомнился шляхтич и перевёл спокойно дух. Он прежде всего поблагодарил Бога за своё избавление от страшной напасти, а после этого раскрыл ларчик, брошенный ему в шапку старостой, и нашёл в этом ларчике сто червонцев.

Возвратясь домой, шляхтич с молитвой пересчитал ещё раз свои червонцы, протёр глаза, как будто не веря тому что он видит и потом... взяв в аренду фольварк, зажил сам настоящим паном.

Анна Ожельская

По смерти знаменитого освободителя Вены от осады турок, Яна Собеского, храброго воина, но постоянно дававшего слишком много воли жене своей, Марии Казимире, – сел, в 1697 году, на польский престол курфюрст или электор саксонский Август, называемый у поляков вторым, так как у них, в ряду королей, считается первым Августом – Сигизмунд II Август.

Август II, или иначе Август Сильный, при избрании своём в короли польские, был ещё очень молод; он был прекрасен собою и одарён исполинской силой. С этими качествами он соединял в себе безграничную доброту, вечную весёлость, откровенность и великодушные. Молодой король любил в это время всего более пышность, рыцарские забавы и женщин.

Обладая огромными наследственными богатствами, король очень легко мог удовлетворять свою страсть к пышности; и действительно, вскоре двор короля-курфюрста затмил своим великолепием и блеском все ев-

ропейские дворы того времени.

Страсти к рыцарским забавам Август II, при своём богатстве, мог дать полную свободу, что он и сделал; а потому блестящие турниры и многолюдные карусели привлекали постоянно толпу гостей и в Варшаву, и в Дрезден. Золото лилось рекою для устройства этих празднеств.

Затем оставалось Августу II удовлетворять ещё одну, но зато самую сильную, страсть его, – именно страсть к молоденьким и хорошеньким женщинам, и мы сейчас увидим, что судьба, слишком уже благосклонная к Августу, дала ему всевозможные средства и все способы также и для того, чтоб он мог иметь верные и постоянные успехи у женщин.

Правда, в средние годы жизни, у короля польского Августа II явилась ещё новая страсть, а именно: непомерная и трудно удовлетворяемая жажда к венгерскому вину, требовавшая частых и продолжительных попок, которые представляли какое-то рыцарское состязание между королём и его собеседниками. Впрочем, к этому приучила его Польша; но в то время, о котором идёт речь в нашем

рассказе, вино не составляло для молодого короля ни потребности, ни развлечения: ему прежде всего нужны были женщины и женщины...

Едва ли кто из смертных одерживал над ними такой длинный ряд блестящих побед, какими означил своё земное бытие государь Саксонии и Польши, этих двух стран, где, по молве народной, всего больше красавиц: "Man sagt in Sachsen schöne Mädchen wachsen", говорят глубокомысленные немцы. "Нет на свете царицы, краше польской девицы" [9], сказал Пушкин, переводя одну из баллад Мицкевича, в которой идёт речь о красоте полек; и надобно сказать правду, что в этих случаях не ошиблись ни немцы, ни славяне.

Но кроме удобства местностей, которые сами по себе представляют такой обильный урожай красавиц, и над которыми прихотливая судьба определила царствовать государю-волоките, Август II сам по себе имел всё то, что нравится женщинам в мужчине, и без королевской короны и без электорской шапки. Мы сказали прежде, что он был щедр, окружён великолепием, всегда более или ме-

нее обаятельно действующим на каждую женщину; скажем теперь, что он кроме того имел необыкновенный дар нравиться вообще кому бы то ни было, а тем более прекрасному полу, как своим обращением, так и своею приветливостью. Он, если хотите, был, по-видимому, в одно и то же время, каким-то средневековым рыцарем, умевшим на словах высоко ценить каждую женскую добродетель, и дон Жуаном, не щадившим на деле ничьего целомудрия. Трудно было устоять самой твердой добродетели против исканий Августа: одних женщин он быстро увлекал своею восторженностью, других исподволь одолевал своею притворной холодностью.

Надобно впрочем сказать, что и без заискиваний со стороны Августа, польки сходили от него с ума. Многие из них, боясь своей девической гибели, или страшась расстроить своё семейное счастье, усиливались скрывать свою любовь к королю; но он тотчас угадывал её. Король как будто подслушивал и сдержанные вздохи, и неровный трепет сердца, которые он возбуждал при своём появлении, под крепкими корсетами варшавских красавиц.

Но ни корсеты, в то время твёрдые как панцири, ни неприступные фижмы, вошедшие в то время в моду у польских дам, не были надёжною защитою для женщин против покушений Августа II.

Однако король, как и вообще все люди, чрезмерно балованные постоянным счастьем, не знал истинной цены своим дорогим завоеваниям: он скоро оставлял их, и одна любовь быстро сменялась другою. Король очень легко забывал и горячие слёзы, и страстные объятия, и жгучие поцелуи оставленных им красавиц; но долго помнили его они, долго они вздыхали о своём прекрасном обольстителе и долго ещё ссорились с своими более счастливыми соперницами, которым, впрочем, неизбежно предстояла та же самая участь.

Надобно однако заметить, что в небезгрешных завоеваниях блистательного короля-курфюрста должно было встретиться одно, по-видимому, неодолимое препятствие, это — чистота польских нравов.

В прежнее время, супружества в Польше были вообще безукоризненны; и если порою

лукавому удавалось как-нибудь попутать постоянно-верную жену, то она неиссякаемыми слезами и вечным раскаянием хотела стереть такое пятно в своей супружеской жизни. Но, несмотря однако ни на слёзы, ни на сокрушения грешницы, женщины, которым без особого искушения со стороны лукавого удалось сохранить неизменную верность к своим мужьям, с презрением смотрели на падшую добродетель, подавшую собою пример небывалого соблазна. Однако в первые годы XVIII века, стали исчезать эти условия семейной жизни в Польше. Женщины в эту пору начали подражать многим иноземным обычаям, а в числе их и тому, который допускает, кроме постоянной, обязательной супружеской любви, ещё любовь другого рода.

Женщины и девушки в то время, о котором идёт теперь речь, не скрывались уже, как это было прежде, со своими пылкими, сердечными чувствами, в отдалённых покоях мужа или родительского дома; напротив, они, следуя новым обычаям, стали свободно являться в общество и среди него, без всякого стеснения, обнаруживать свои душевные по-

рывы и свои сердечные влечения. Они начали с прихотливым искусством убирать волосы, заботливо выбирать цвета одежды, которые бы шли к лицу, начали стягивать талии, смеяться, танцевать, пудриться, веселиться, любезничать и всё это стали они делать с единственной целью понравиться мужчинам.

Если же порою начинали подозревать замужних женщин в неточном исполнении ими всех супружеских обязанностей, то они много что краснели, но вовсе не думали плакать навзрыд, как ревела некогда старуха Ядвига, королева Польская, когда некто Гневош Далевич насплетничал на неё её мужу, королю Ягелло, будто она тайком от него продержала несколько недель в своём замке проезжавшего через Польшу молодого и красивого австрийского герцога. Польские дамы времён Августа II не требовали от своих клеветников, для восстановления своей доброй славы, – ни явных улик, ни сознания в клевете, как это сделала Ядвига с долготязычным паном Далевичем, которого целомудренная и невинно оклеветанная королева заставила, в наказа-

ние за запятнание её супружеской чести, залезть под лавку, и оттуда, подражая собачьему лаю, просить прощения за оскорбление нанесённое им невинной женщине.

Польские пани времён Августа II громко смеялись над выдумкою простодушной Ядвиги. Ни одной из них не приходило в хорошенькую головку обращаться к такому замысловатому возмездию для восстановления их доброй славы, в случае напрасных наговоров. Напротив, многие из них хвалились, что они не только в молодости заставляли мужчин любить их без ума, но гордились ещё и тем, что они, несмотря на своё увядание, умеют, если захотят, прельстить своими прелестями – как пылких юношей, так и охладевших уже стариков. Такое изменение прежних семейных нравов началось прежде всего в высших слоях польского общества и оттуда стало постепенно опускаться в низшие его слои. В то время, к которому относится наш рассказ, по замечанию одной хроники, у польских дам высшего круга была "скромность без стыда".

Среди общества таких женщин суждено

было явиться Анне Ожельской; она была замечательна не как историческая личность, но как одно из самых хорошеньких личек, когда-либо существовавших в поднебесной; кроме того надобно добавить, что с воспоминанием об этом хорошеньком личике связан рассказ и о странной игре случая.

В некоторых библиотеках, впрочем в весьма немногих, можно найти не слишком большую книжку, изданную в 1735 году, в Амстердаме, под заглавием: "La Saxe Galante". Трудно сказать положительно, что было причиною редкости этой книжки в настоящее время. Должно однако заметить, что автор её неизвестен; но судя по слишком подробным описаниям некоторых случаев из жизни Августа II, короля польского, надобно с полною вероятностью заключить, что упомянутая книжка была написана лицом, весьма близким к этому государю; по всему видно, что неизвестный её автор жил очень долгое время с тем лицом, похождения которого он так подробно описывал. Книжка под заглавием: "La Saxe Galante", в любовной истории сильных мира сего, особенно замечательна тем, что она опи-

сывает все похождения короля-курфюрста, как знаменитого покорителя женских сердец, без всяких, между прочим, даже самых кратких рассказов о его подвигах, как государя Саксонии, Польши и Литвы. О политике в этой книжке нет ни полслова. Быть может, это самое обстоятельство и есть одна из главных причин, почему упомянутая книжка читается легко и приятно, как занимательная повесть, хотя, надобно сказать правду, и не слишком скромного содержания.

Автор этой книжки начинает историю любовных походов своего царственного героя с поездки его в Испанию, где он, во время самого жаркого, самого ожесточённого боя быков, успел влюбиться без памяти в смуглую и черноокую дочь Андалузии, графиню де Мансера. Далее в этой книжке следуют рассказы о длинной веренице разноплеменных красавиц, которые дарили Августу восторженные мгновенья и под южным, и под северным небом.

Но если неизвестный автор книги "La Saxe Galante" позаботился рассказать потомству о такого рода подвигах Августа II и постарался

подробно передать его блестящие победы и над брюнетками, и над блондинками, и даже над рыженькими, то и сам король, не менее почтенного автора, хлопотал о том, чтоб увековечить память своих многочисленных завоеваний.

Чтоб вернее достигнуть этого, он в своём дрезденском дворце посвятил особенную, обширную залу для сохранения памятников своих сердечных завоеваний. Зала эта и доныне наполнена портретами хорошеньких женщин, преимущественно же польских красавиц; все эти женские личики, смотря на любопытного посетителя из своих золочёных рам, веют на него какую-то чудною, какую-то обаятельной негой. Август II увозил в свой дрезденский дворец портреты всех женщин, в которых он влюблялся, и влюблялся, конечно, с полным успехом. Из этих-то портретов он составил значительную картинную галерею, воспетую известным чешским поэтом Колларом.

В числе этих портретов вы встретите один, на котором в особенности остановится ваше долгое, невольное внимание. Трудно изобра-

зять пером всё то, что передала полотну искусная кисть художника. Скажем только, что портрет этот был снят с Генриетты Дюваль, француженки, родившейся в Варшаве, и что прелестная Генриетта, по сказанию одних биографов, была седьмою, а по сказанию других семнадцатою любовницею Августа II. Впрочем, надобно заметить, что как первое, так и последнее известие заслуживает одинаковую вероятность, счёт не служит ни малейшим препятствием ни в том, ни в другом случае, потому что число всех женщин, которых любил Август, и которые ему платили тем же, далеко, как видно из числа портретов, превосходит не только 17, но и 117.

Конечно, в pendant к портретной галерее побеждённых красавиц не мешало бы Августу II, для более точных воспоминаний, составить ещё и другую дополнительную коллекцию портретов тех личностей, которые носили рога, полученные ими по милости короля; но король пощадил этих несчастливцев, и потому на вас со стен этой галереи – то весело, то задумчиво, то лукаво, то простодушно смотрят одни только хорошенькие личики.

Среди них вам самим делается и приятно и грустно, и вы сами готовы и лукавить, и хитрить, и веселиться, и задумываться.

Пора однако сказать, что влюбчивый Август не был холост, а в свою очередь испытал радости супружеской жизни, сочетавшись браком с принцессою Христиной Бранденбургской. Однако нельзя умолчать и о том, что сама судьба покровительствовала королю, облегчив его брачные узы тем, что вследствие некоторых обстоятельств, о которых мы сейчас скажем, королева не была ни малейшей помехой любовным развлечениям своего мужа.

Надобно заметить, что королева Христина была самая ревностная лютеранка, и что она поэтому ни под каким предлогом не хотела жить в Варшаве, в городе, в то время, истинно-католическом. При том и сам Август для того, чтоб пользоваться в небытность своей жены полной свободой, внушил своей супруге и полякам, желавшим, чтоб королева жила в Варшаве (с целью, чтоб при дворе королевском могли бывать их жёны и дочери), что не совсем будет, по его мнению, хорошо, если го-

сударыня-иноверка изберёт для постоянного своего местопребывания столицу католического государства. Поляки поняли однако хитрость короля; они смекнули, что в отсутствие королевы расходы Августа легко могут увеличиться по таким статьям, без которых он мог бы обойтись, если б не расставался на долгое время с своею женою, и потому тарноградская конфедерация формально, вооружённою рукою, потребовала, чтоб королева немедленно оставила Дрезден и переехала на постоянное жительство в Варшаву. Август умел однако противостоять этому требованию с неодолимым упорством.

Между тем в то время, когда Август II с таким мужеством отстаивал свою личную свободу от бдительного надзора супруги, он сам не заметил, как он попался в строгую опеку к одному из тех милостивых созданий, портреты которых он отправлял в свою дрезденскую галерею. Строгим и неумолимым опекуном Августа – сделалась прекрасная графиня Козель.

Известно почти всем и каждому, что всего зорче смотрит глаз влюблённой и честолюбив-

вой женщины, а между тем молоденькая графиня Козель была влюблена в Августа донельзя. Кроме того, умненькая графиня сумела получить над королём безграничную власть и, пользуясь ею, вынудила от него тайное письменное обязательство вступить с нею в брак, если бы (чего Боже сохрани!), к сожалению всех подданных короля-курфюрста, пресеклись драгоценные дни его супруги.

Устроив свою будущность таким образом, графиня Козель, чтоб как можно вернее удержать в своих хорошеньких ручках летучее сердце Августа, учредила над его особой самый строгий, самый неусыпный надзор, дав королю в бессменные адъютанты своего родного брата. С этой поры, графиня совершенно успокоилась насчёт короля: она была вполне уверена, что ей будет известен каждый его шаг, и твёрдо надеялась на то, что зло, как бы оно само по себе ужасно ни было, может быть однако легко уничтожено, если только захватить его в самом начале, не давая ему развиться. Но обыкновенно расчёты человеческие бывают почти всегда крайне неосновательны и большею частью всегда ошибочны.

Это же самое случилось и теперь, потому что тот, кто должен был сделаться неподкупным и неусыпным блюстителем верности короля к графине, – тот самый сделался и первым его искусителем.

Брат графини Козель был молодой человек, всю душою привязавшийся к королю и любивший вместе с тем хорошенько пожить, чему впрочем очень часто или, вернее сказать, почти всегда препятствовал недостаток собственных его денежных средств, и потому он искал разного рода утех и забав преимущественно насчёт королевской шкатулки.

– Где ты бываешь каждый день по вечерам? – спросил однажды король своего адъютанта, – я тебя с некоторого времени что-то очень редко вижу у себя во дворце.

Адъютант замялся.

– Верно снова удалось тебе отыскать какую-нибудь красавицу? – смеясь, продолжал король. – Ты, я знаю, всегда был счастлив в этом отношении.

– Только не в настоящее время, ваше величество, – отвечал брат графини Козель, пользуясь разговорчивостью короля.

– А что, видно ты опять без денег?

– Конечно, ваше величество, неимение денег мешает исполнению многих предприятий; но в настоящем случае едва ли можно будет успеть и при их помощи.

– А что? разве предмет твоей теперешней страсти уже слишком недоступен? – спросил король с заметным любопытством.

– Испытайте сами, ваше величество, – отвечал адъютант, – и вы разрешите сделанный мне вами вопрос.

Тогда король начал допытываться у своего адъютанта о том, кто такая была эта недоступная красавица, и наконец узнал, что вся варшавская молодёжь сходила с ума от дочери французского виноторговца Дюваля – Генриетты.

Король почувствовал неодолимое желание хоть раз взглянуть на Генриетту; но нелегко было это сделать при неусыпном за ним надзоре графини Козель. Чтоб достигнуть желанной цели, король заговорил с братом графини окольными путями о своём намерении только взглянуть на Генриетту. Король уверял своего адъютанта, что он желает это сделать

вовсе не с какою-либо предосудительною целью, но из одного только любопытства, чтоб самому иметь возможность убедиться, до чего может доходить красота женщины. Уверившись же, во время этого разговора, в преданности к себе и в скромности приставленного к нему шпиона, король решился взглянуть на Генриетту.

Август II, переодевшись в платье саксонского офицера, отправился с своим адъютантом в погребок к Дювалю. Едва только его величество увидел Генриетту, как должен был сознаться, что Варшава не даром дала ей название первой красавицы. Действительно, семнадцатилетняя Генриетта Дюваль была хороша, как пучок махровых, только что сорванных роз, спрыснутых летним дождиком, и король Август, отличный знаток женской красоты, тотчас увидел, что дочь Дюваля имеет полное право украсить своим личиком галерею, составляемую в Дрездене заботою его величества о процветании художеств среди управляемых им народов.

Адъютант короля горько обманул доверие, оказанное ему его сестрой-ревнивицей; он

умел повести дело так искусно, что Генриетта, в мундире офицера польских войск, явилась на другой день в королевский замок, для получения от его величества особых секретных приказаний. Приказания эти несомненно были особенной важности; но странно было только то, что после нескольких поручений, данных королём молодому офицеру и по прошествии известного срока, король без всякого изумления узнал, что являвшийся к нему офицер сделался не отцом, а матерью младенца, окрещённого под именем Анны. По сведениям же, полученным в то время графиней Козель, оказалось, что мать новорождённой девочки была Генриетта Дюваль.

Замечательно, что Генриетта и сама графиня подарили Августу по дочери в один и тот же день 1702 года.

Дочь графини Козель росла в изобилии и роскоши, потому что её воспитывали как дочь короля; но грустна была судьба Анны. Надобно заметить, что Август II чрезвычайно любил своих побочных детей, и по всей вероятности дочь Генриетты сделалась бы предметом его постоянных и нежных забот, если

бы обстоятельства не были против Анны. Но горе стало преследовать малютку с пелёнок. Война со шведами разгоралась год от году всё сильнее и сильнее. Не раз принуждён был бегать Август II из города в город, почти по пятам преследуемый своим неутомимым соперником Карлом XII, любимцем военного счастья. Эти обстоятельства не позволяли королю заняться участью Анны; притом мать её вскоре умерла, испытывая страшную нищету. В семействе Дювалей, после смерти Генриетты, не осталось никаких доказательств, которые давали бы им хотя некоторое право обратиться к королю с просьбою об устройстве судьбы несчастной Анны.

Между тем год проходил за годом. Анна росла в доме своего деда и хорошела с каждым днём; а король из красивого юноши сделался прекрасным мужчиной; но прошла вторая его молодость и незаметными шагами стала приближаться старость к Августу II. Часто король, в бытность свою в Дрездене, долго с грустною задумчивостью останавливался перед портретом Генриетты; кто знает, быть может он представлял себе в это время и её

забытую всеми могилу, и брошенную на произвол судьбы бедную сироту, в которой текла его королевская кровь.

Все замечали грустное настроение короля. Дворец его пустел мало-помалу. Смолкли в нём весёлые игры, не раздавался уже в нём звонкий и беззаботный смех красавиц, как это бывало в прежние годы. Но вдруг всё переменялось: во дворце короля, неизвестно откуда, явилась прелестная лет двадцати девушка, и все начали говорить, что это, по всей вероятности, будет уже последняя, но зато самая сильная привязанность короля, который стал боготворить эту девушку и приказал называть её во всех актах Анной Ожельской.

Крепко ошиблись однако те, которые предполагали грешную любовь в любви короля к Анне, потому что она, как это сделалось вскоре известно, была его дочь; но только долгое время скрывалась от всех тайна её рождения. Статься может, что жребий Анны был бы самый печальный, если б в её бедной доле не принял самое горячее участие граф Рутовский.

Граф Рутовский был побочный сын короля Августа от пленной турчанки Фатимы; он был годами двумя старше Анны, и в то время, о котором теперь идёт речь, командовал полком королевской гвардии и отличался редкою добротою сердца. Узнав из глухой молвы о существовании в Варшаве, в семействе Дювалей, забытой дочери своего отца, граф отыскал подраставшую Анну и захотел устроить её будущую судьбу, а вместе с тем и обрадовать своего отца находкою потерянной им дочери.

Не объявляя Анне тайны её рождения, Рутовский употребил все средства для того, чтобы дать ей воспитание, сообразное с тем положением, которое ожидало её в будущем, и не желая, в случае нерасположения к ней её отца, расстроить все мечтания, которые должны были родиться в голове бедной девушки при мысли, что она имеет право назвать себя королевскою дочерью, граф, под разными предлогами, уговорил Анну надеть офицерский мундир того полка, которым он командовал, и явиться в рядах этого полка на королевский смотр.

День смотра наступил. Король с сумрачным лицом ехал по рядам того полка, которым командовал Рутовский, и вдруг с радостным изумлением остановился перед одним молоденьким офицером. Король сделал несколько шагов далее, но не мог удержаться, чтобы не поворотить назад своего коня и не подъехать снова к тому месту, где стоял молоденький офицер, на которого он посмотрел с таким изумлением.

"Нет!.. это не призрак... это она – Генриетта Дюваль, и в том самом мундире, в котором она, двадцать лет тому назад, пришла ко мне в первый раз", – подумал про себя Август и взволнованный, не спуская глаз с молодого офицера, он отъехал в сторону и подозвал к себе графа Рутовского. Видно было, что король, говоря с графом, в одно и то же время сдерживал и радость и слёзы. Ему было не до смотра: он нашёл свою дочь, – живой портрет Генриетты Дюваль.

Прошло весьма немного дней после этого смотра, и королевский замок в Варшаве ожил опять, с появлением в нём Анны Ожельской, которую спустя несколько време-

ни он признал своею дочерью. Фамильное же прозвание для Анны король позаимствовал от польского слова orzeł (ожел), что значит по-русски орёл, желая тем показать, что Анна по рождению своему принадлежит Польше, так как польским гербом был белый одноглавый орёл.

Король хотел, чтобы Анна пользовалась всеми правами его дочери; поэтому залы королевского дворца были отделаны заново; в них начались блестящие балы, напомнившие Варшаве пышную и шумную молодость короля-курфюрста. Сначала польские матроны не совсем охотно отправлялись на эти балы, на которых не только хозяйкою, но и царицею была очаровательная Анна. Но зато от молодёжи решительно не было отбою: что только было в ней лучшего, – спешило с радостью на гостеприимный зов короля, чтоб любоваться его Анной, и конечно многие из среды этой молодёжи, а статья может и немало стариков, мечтали о счастье сделаться мужем Ожельской.

Август II очень охотно и притом с большим приданым выдавал ещё и прежде своих

побочных дочерей за поляков. Анна же была самая любимая его дочь; при браке с нею можно было надеяться на многое; для неё одной король поддерживал непомерную роскошь своего двора: ему весело было смотреть, как забавлялась его резвая Анна.

Между тем в огромной толпе вздыхателей, окружавших Анну, явился один молодой человек Цетнер, из фамилии немецкого происхождения, но ещё в давних времена поселившейся в Польше. Он был счастливый избранник Анны. Брак с ним был возможен, но на Анну уже повеяла нравственная порча того времени. Она нисколько не скрывала своей любви к Цетнеру, и он являлся всюду, где только была Анна; но Анна хотела прежде всего пользоваться полною свободой и не решалась стеснять себя узами брака. Долго ли противилась она исканиям Цетнера, определить нельзя; но известно только то, что в 1729 году она сделалась от него матерью.

Впрочем, всё это уладилось и легко и скоро: около этого времени явился в Варшаве один из иностранных принцев; родословное его древо терялось своею широко разросшей-

ся вершиной чуть ли не в самых облаках; но фамилия, к которой он принадлежал, владела каким-то микроскопическим государством. Последнее обстоятельство заставляло недостаточного принца искать, по обычаю того времени, службы на чужой стороне, если не с чином генерала, то по крайней мере хоть бы с чином полковника. При стеснённом положении домашних дел принца, такая богатая невеста, как Анна Ожельская, была для него давно желанною находкой, а сама Анна, утомившись рассеянною жизнью, хотела семейного покоя.

Скоро сватовство окончилось браком, совершённым в Дрездене с необыкновенным великолепием, в присутствии двух королей и многих владетельных герцогов и князей.

Таким образом, бедная, заброшенная некогда сирота, а потом избалованная ветреница, сделалась одной из самых очаровательных женщин в целой Европе, и грех своего рождения и свой собственный прикрыла герцогской мантией.

Паніе Kochanku

Около половины прошедшего столетия, старинный домашний быт в Польше и в Литве начал исчезать слишком заметно. Иноземные обычаи и иноземный образ жизни, усвоенные первоначально только королевским двором и самыми знатными панами, проникали мало-помалу и в другие сословия.

В это время при дворе короля польского подражательность французам развилась уже до такой степени, что как казалось, при этом дворе напудренные версальские придворные были скорее на своём месте, нежели одетые в кунтуш чубатые воеводы – виленский Радзивилл и киевский Потоцкий. Оба они, придерживаясь старопольских обычаев, казались уже какими-то чудаками среди офранцузившихся польских царедворцев, – в особенности же Радзивилл, который, и по своему личному характеру и по образу своей жизни, был представителем старинной польской народности, уже исчезнувшей в кругу перерождённых магнатов.

Между тем низшая польская и литовская

шляхта, не поддавшаяся ещё иноземному влиянию и следовавшая дедовским обычаям, видела в Радзивилле представителя старого времени, следовательно и представителя своих коренных прав и наследственных преданий. По этому самому, виленский воевода пользовался между польскою, и особенно между литовскою шляхтою, такую популярность, какой, вероятно, никому, никогда и нигде не удавалось достигнуть. Не было ни поляка, ни литвина, который не знал бы о "Panie Kochanku" и не любил бы его. Предание о нём живёт и донныне.

Все называли князя Карла Радзивилла, воеводу виленского, ни по княжескому его титулу, ни по его крёстному имени, ни по его знаменитой фамилии, ни по его воеводскому званию, но означали его обыкновенно словами: "Panie Kochanku"; это значит почти то же самое что по-русски: "мой любезнейший!" Прозвище это дали Радзивиллу потому, что он, обходясь со всеми, по старопольскому обычаю, запанибрата, говорил всем и каждому, а в том числе даже и самому королю – "Panie Kochanku"!

Придерживаясь польской старины, Радзивилл уже по одному этому не мог быть в ладу с последним польским королём, Станиславом Августом Понятовским, бывшим скорее иностранцем, нежели поляком, переписывавшимся с Вольтером и умевшим приобрести себе корону не единодушным выбором шляхты, но посредством чужеземного влияния.

При вступлении Понятовского на престол, Радзивилл составил было конфедерацию, но король одолел её, и предводитель уничтоженной конфедерации подвергся изгнанию из отечества. При таких обстоятельствах, Карлу Радзивиллу, владельцу двухсот тысяч душ и несметных радзивилловских богатств, накопленных веками, угрожала самая печальная участь: он должен был из богача-магната обратиться в бедняка-странника.

Но любовь шляхты к Радзивиллу спасла его от этой горькой участи; потому что, как только сделался известен приверженцам Радзивилла состоявшийся над ним приговор, они тотчас на общей сходке постановили: взять от казны за собою в аренду все описанные имения Радзивилла за самую ничтож-

ную плату. Никто не смел состязаться с многочисленными приятелями Радзивилла, называвшимися албанчиками и отличавшимися неограниченной отвагой, и потому все описанные имения изгнанника перешли в руки его горячих приверженцев, которые постановили между собою – посылать ему полугодовой доход со всех его имений, заарендованных ими.

Между тем Радзивилл, принуждённый оставить родную Литву, странствовал на чужбине; и куда он только ни являлся – в Стамбули, в Венецию ли, в Рим ли, – всюду ожидали его у местных банкиров огромные суммы, переведённые албанчиками на его имя. Поддерживаемый дружбою своих приверженцев, Радзивилл удивлял всех иностранцев своею непомерною роскошью; а между тем они, зная о судьбе изгнанника, по-видимому лишённого всего, не могли никак объяснить себе источников его изумительного богатства. И поэтому мало-помалу распространилась за границу молва, будто Радзивилл обладает каким-то волшебным, неразменным червонцем, величиною с жерновой камень, достав-

шимся ему по наследству.

Странствуя из одной страны в другую, в ожидании возможности вернуться на родину, Радзивилл и на чужбине хотел сохранять родные обычаи; поэтому, однажды, находясь в Венеции, он устроил так называемые у поляков "свенцёны".

Свенцёнами у поляков называется холодная закуска, выставляемая, как и у нас, на стол в течение Светлой недели; только надобно заметить, что польские свенцёны далеко превосходят подобные наши закуски, и по обилию, и по разнообразию.

Устроив свенцёны, Радзивилл пригласил к себе светлейшего дожа и всех сенаторов, и изумил всех своих гостей необыкновенною вместимостью польского желудка, потому что в то самое время, когда итальянцы, с ужасом посматривая на слишком тяжёлые и слишком жирные кушанья, обходили их и прикасались только к маслу и к макаронам, Радзивилл показывал своим воздержным гостям образец литовского аппетита, истребляя в изумительном количестве и жгучую водку, и жирную ветчину, и аршинные колбасы и

пр. и пр.

Благоразумный правитель Венецианской республики опасался дурных последствий невиданного им до того времени обжорства, и по совещанию с превосходительными сенаторами прислал тотчас же, после своего возвращения во дворец, двух самых искусных докторов, которые должны были, сохраняя самое строгое инкогнито, оставаться настороже в палаццо, занятом Радзивиллом, на случай болезненных припадков знаменитого гостя, после описанной закуски.

Само собою разумеется, излишне было бы говорить, что опасения светлейшего дожа и сената были совершенно напрасны. Можно только добавить, что если Радзивилл умением выпить и плотно закусить изумлял итальянцев, то он этими же самыми качествами приобретал себе особенное расположение своих соотечественников: у них в то время крепкая против водки голова и вместительный желудок, – эти две необходимые принадлежности гостеприимного хозяина, обязанного давать пример своим гостям, – считались вообще не последними достоинствами поря-

дочного человека.

Проведя несколько лет в изгнании, Радзивилл получил наконец позволение возвратиться на родину, и с этого времени началась его необыкновенная популярность.

Осуждая вообще польских магнатов последнего времени за их холодное равнодушие к благу родины, за их стремление отделиться от общей массы народа, за предпочтение ими их собственного довольства и честолюбия прямым потребностям погибавшей отчизны, за своеволие их с низшими своими собратьями, — нельзя не сказать, что князь Карл Радзивилл составлял среди подобных личностей совершенное исключение. Он был образец богача, жившего не столько для себя, сколько для других, К чести Радзивилла надобно сказать также и то, что в то время, когда современные ему магнаты отдавали, из корыстных видов, своих бедных холопов в жертву жадным арендаторам, Карл Радзивилл постоянно думал о благе подвластных ему крестьян, и малейшую обиду, малейшее притеснение, оказанные кому-нибудь из них, он уже считал лично сделанным ему оскорблением.

Приветливость, равное со всеми обхождение, простодушие, откровенность, отсутствие надменности, пышность – там, где её нужно было выказать, – и наконец желание помочь каждому – слишком выдвигали вперёд личность князя Карла Радзивилла и приобретали ему общее уважение, несмотря на все его причуды и странности, которые, конечно, без множества добрых качеств, могли бы сделать его только предметом общих насмешек.

Мы сказали, что Радзивилл не прочь был от пышности, но надобно прибавить, что он был далёк от той тщеславной выставки своих богатств, которая доставляет удовольствие только тем, кто имеет возможность пользоваться ими, и которая в то же время как бы оскорбляет других. Напротив, Карл Радзивилл обнаруживал пышность и выставлял свои богатства там, где то и другое, по понятиям того времени, могло доставлять общее удовольствие: там, где богатство одного человека делалось предметом зрелища, любопытного для всех, и как бы забавляло целую толпу, не давая ей чувствовать преобладание пышного магната. Все очень хорошо знали, что Карл

Радзивилл, изумлявший всех своею пышностью в известных, только весьма немногих, случаях, в обыкновенной своей жизни, несмотря на несметные богатства, хотел жить и жил так, как жил в его время простой, небогатый шляхтич.

Чтобы убедиться в этом, нужно было заглянуть в Несвиж, любимое и обыкновенное местопребывание князя. Побывавшие в Несвиже могли видеть, что Карл Радзивилл, если ему не было надобности изменять образа жизни, строго держался, по обычаю предков, и старинной простоты и строгой умеренности там, где соблюдение той и другой повелось исстари.

Действительно, в то время, когда польские магнаты, побывавши за границею и присмотревшись к тамошнему быту дворянства, строили в своих поместьях и огромные замки, и великолепные дворцы, — первый богач Литвы и Польши жил под простою дедовскою кровлей.

У Радзивилла, в его несвижском доме, в подвалах которого хранились несметные сокровища, не было ни пышной мебели, ни зер-

кал, ни бронзы; были только драгоценные ковры, и то развешанные по стенам, тогда как гладкий дубовый пол был, как это велось у его отца и дедов, старательно натёрт воском.

Правда, надобно сказать, что обеденная зала в доме Карла Радзивилла отличалась слишком дорогою диковинкою для того времени, потому что вся была обита гобеленовскими обоями. Но это не было собственной тратой князя Карла, потому что дорогие обои достались ему в наследство от отца, который сам получил их в подарок от французского короля Людовика XIV. Самый рисунок обоев до некоторой степени соответствовал назначению той комнаты, в которой они висели; так как на одной их части было изображено насыщение 5000 человек пятью хлебами, а на другой – брак в Кане Галилейской.

В дополнение к этим обоям, отец князя Карла велел нарисовать на стенах охоту, на которой погиб лучший его друг Илинич, и въезд в Краков королевы Барбары, жены короля Сигизмунда II, урождённой Радзивилл. Все лица, изображённые на этих картинах,

были сняты с родных, приятелей, знакомых и слуг покойного князя.

Надобно впрочем заметить, что ещё две вещи, по своей ценности, обращали на себя в доме Радзивилла общее внимание его многочисленных гостей: это были две огромные люстры, каждая в 300 свечей, перешедшие к Радзивиллам по наследству от князей Вишневецких.

Таким образом в доме магната не попадались в глаза убогой шляхты те прихотливые и вычурные украшения, которые в жилищах других польских богачей слишком резко напоминали гостям о их бедности и о богатстве хозяина.

Но ограничивая пышность в своём доме, князь Карл выказывал её там, где она могла делаться как бы общею для всех: так гостям его, всем без различия, подавали обедать и ужинать на серебре и на фарфоре, что, надобно заметить, не очень водилось у других магнатов, на обеды которых являлись шляхтичи, неся за пазухой собственные свои ножи, вилки и ложки. Кормил своих гостей радушный хозяин опять всех без различия, не одними

простыми кушаньями – крупником и рубцами, но кроме этих, самых обыкновенных польских блюд, у него на столе являлись медвежьи лапы под вишнёвым соусом, бобровые хвосты с икрой, лосиные ноздри с миндалём, жареные ежи и кабаньи головы. Само собою разумеется, что об изобилии водки, пива, мёда и венгерского говорить нечего.

При приезде каждого гостя, трубач трубил; и Радзивилл по этому знаку выходил в сени, для встречи приезжего гостя. Обыкновенно у него набиралось столько гостей, что, несмотря на огромность княжеских палат, в них не могли все гости обедать разом, и потому обедали по очереди, так что иногда накрывали стол раза по четыре.

Обходясь, как замечено, со всею шляхтою запанибрата, "Panie Kochanku" не требовал от неё для себя особого почёта; но сами гости, любя и уважая своего хозяина, вставали со своих мест и низко кланялись князю, при каждом его выходе в залу, хотя бы это случилось сряду двадцать раз. На эту вежливость гостей хозяин отвечал тою же самою вежливостью.

Особенный прилив гостей в Несвиж был ежегодно 4 ноября, в день святого Карла, так как в этот день князь был именинник. Понятовский, примирившийся с Радзивиллом, никогда не забывал этого дня, и присылал нарочно в Несвиж к этому дню одного из каштелянов, чтоб поздравить князя с его ангелом от имени короля.

Ещё за несколько дней до 4 ноября, по дорогам, шедшим в Несвиж, не было уже проезду; они были загромождены множеством карет, кочей, повозок и бричек, набитых гостями, ехавшими в Несвиж; все придорожные корчмы и гостиницы были заняты проезжими. Хлопанье длинных бичей не умолкало ни на минуту.

Впрочем было два особенных случая, где пышность Радзивилла превзошла всякое вероятие; именно, – один раз, при въезде его в Вильно, как виленского воеводы, а другой раз, при приезде короля Станислава Августа в Несвиж, в гости к своему бывшему сопернику.

О въезде виленского воеводы долго говорили и в Литве и в Польше. Въезд начался в 6

часов утра и кончился только в 8 часов. Целых два часа безостановочно тянулся торжественный поезд князя-воеводы. После множества карет, бывших в поезде, ехала княжеская кухня, за нею княжеский гардероб, при особой страже; всего было 100 цугов или 600 лошадей в упряжи; кроме того, за воеводой ехали 2000 его конных казаков и шло 6000 человек его собственной пехоты.

В этот день во всех пяти радзивилловских палацах, принадлежавших в то время в Вильне Радзивиллу, были приготовлены роскошные обеденные столы для шляхты; а на всех виленских рынках были расставлены в изобилии жареные волы, а также бочки с мёдом и пивом. Каждый ел и пил, сколько было душе угодно, на счёт щедрого воеводы. Кроме того, на некоторых площадях были пущены фейерверки, устроены иллюминации, маскарады, и представляли комедианты разные штуки.

Ещё большее великолепие выказал Радзивилл при посещении Несвижа королём Станиславом Августом в 1782 году. В этом случае, князь, уже не боясь раздражить шляхту, но

зная, что она будет довольна, если короля поразит богатство литовского шляхтича, он решил показать королю и гостям богатство Радзивиллов. Открылась вековая сокровищница: из неё вынесли золотую, золочёную и серебряную посуду, столы и экраны для каминов, вылитые из серебра, и расставили их в комнатах, назначенных для короля. Развесили редкие гобелены и разостлали драгоценные турецкие ковры. В шести огромных комнатах разложили наследственные редкости: булавы, жезлы, знамёна, изображения апостолов, вылитые из золота, мощи в ковчегах, украшенных драгоценными камнями, старинное оружие, египетские мумии, китайские и японские фарфоры и пр.

На зов хозяина, к приезду короля поспешила почти вся литовская шляхта в Несвиж, а как известно, её было не мало.

По случаю посещения королём Несвижа, князь обмундировал заново всё своё восьмитысячное войско, выписал музыкантов из Италии, а также и поэтов, плохих и хороших, как из ближайших околотков, так и из самых отдалённых мест Литвы и Польши. Наконец

были сделаны огромные приготовления к королевской охоте.

Начиная далеко за Слуцком, с самого Полесья, стали сгонять к Несвижу зверей; чтобы удержать их в этих местах до королевского приезда, строили заборы, делали засеки и составляли неразрывные цепи из людей, иногда по протяжению нескольких миль. Теснимые таким образом со всех сторон, и волки, и медведи, и лисицы, и лоси, и вепри сбегались во множестве па место, предназначенное для королевской охоты. Там устроили великолепный павильон; охота удалась как нельзя лучше: король сам застрелил медведя.

Гостей, кроме дам, собралось две тысячи; для них были разбиты палатки под Несвижем. Всё содержание их, в течение нескольких недель, производилось на счёт Радзивилла.

Когда король, в сопровождении литовского подканцлера Хрептовича и знаменитого польского историка, епископа Нарушевича, подъезжал к Несвижу, то князь Карл встретил его за милю от своей резиденции.

Князь выехал навстречу королю на коне

чистой арабской породы; на коне была золотая уздечка, осыпанная драгоценными камнями, а подкован он был золотыми подковами. На Радзивилле был надет богатый кунтуш с брильянтовыми пуговицами, а сабля, украшенная брильянтами, стоила, по уверению знатоков, по крайней мере 80.000 польских злотых, – сумма огромная для тогдашней ценности денег.

При встрече короля княжеская пехота стояла вытянутою по несвижской дороге в два ряда; по бокам королевского поезда ехала конница; над домом развевался флаг с гербом Радзивиллов; с валов, окружавших Несвиж, непрерывно стреляли из пушек; во всех костёлах раздавался неумолкаемый колокольный звон.

Король остановился у несвижской приходской церкви и вошёл в неё. Там он сел на приготовленное для него кресло, а шесть рыцарей огромного роста, в тяжёлых стальных доспехах, заняли места по бокам королевского трона. Духовник Радзивилла произнёс королю приветственную речь, в которой он сказал, между прочим, что не за чем дивиться

Радзивиллам, если к ним приходят короли, так как в Несвиже был у них блаженной памяти король польский Сигизмунд II Август, желая вступить в брак с Барбарою Радзивилл; был и король Михаил Вишневецкий, близкий родственник Радзивиллам; что был наконец здесь и знаменитый освободитель Вены Ян Собеский, родившийся от княжны Радзивилл, но что всё-таки, несмотря на это, прибытие его величества короля Станислава Августа князь Радзивилл считает для себя за особенную честь.

Король провёл пять дней в Несвиже. В это время праздник сменялся праздником. Между прочими увеселениями была представлена на несвижских прудах осада Гибралтара.

Был впрочем ещё и третий случай, выказавший богатство князей Радзивиллов – это похороны отца князя Карла, великого гетмана литовского. "Panie Kochanku" к похоронам отца готовился несколько лет: многие украшения костёла, – куда был внесён стоявший до того времени в склепе гроб гетмана, – были выписаны из Парижа. К похоронам гетмана съехалась в Несвиж почти вся литовская

шляхта; сто экипажей, каждый запряжённый четырьмя конями, были готовы во всякое время к услугам гостей. Похороны гетмана стоили более 1.000.000 польских злотых, не считая огромных издержек на вина.

Богатство и могущество Радзивилла и его влияние на шляхту обнаруживались также и при его поездках в гости, при отправлении на охоту и приездах его на шляхетские сеймики.

Приём такого гостя, как Радзивилл, обходился тому, кого он удостоивал своим посещением, иногда до 30.000 злотых. Когда "Panie Kochanku" приезжал в гости к какому-нибудь шляхтичу, то хозяин, со всеми своими гостями, спешил встретить его на границах своих владений; при появлении князя раздавались громкие восклицания: "Да здравствует наш князь, краса литовской провинции!" В знак же уважения к дорогому гостю вся шляхта, встречавшая Радзивилла, соскакивала с коней, хотя бы в то время лежал самый глубокий снег, или была бы грязь по колени; но зато и сам князь, в свою очередь, выходил из саней, здоровался, стоя в снегу или в грязи, с каждым из шляхтичей, так что иногда такая

встреча длилась по несколько часов.

Поздоровавшись и перецеловавшись со всеми шляхтичами, князь уж не влезал в свои сани, но садился на коня и отправлялся верхом вместе со всеми. При подъезде к дому и хозяин и гости поспешали обогнать князя, чтобы снова встретить его на крыльце всей ватагой. Во время обедов и ужинов, гости, очарованные любезностью князя, нередко стаскивали с него сапог, и пили из этого сапога венгерское за здоровье добродушного магната.

Отправление "Panie Kochanku" на охоту тоже было делом не последним. Кстати заметим при этом, что он, проезжая от Немана до Двины и от Двины к Висле, мог всегда ночевать в своих владениях, — так широко раскидывались они по всей Литве.

При поездках Радзивилла на охоту, впереди его ехало несколько вершников, впереди которых находился придворный маршалок Радзивилла. Маршалок замечал вязками соломой дорогу, если она выходила на просёлки, и отправлял в лес одного из ловчих, который замечал тропинки, посыпая их ельником. На

дороге поезд увеличивался, как снежный ком, всё более и более, потому что беспрестанно выезжали навстречу князю все окольные шляхтичи и присоединялись к следовавшей за ним толпе.

Маршалок распорядился заготовлением на дороге всего необходимого; по его распоряжению, на всём пути строили будки и шалаши; по вечерам, если останавливался княжеский поезд на ночлег, около того места зажигались бесчисленные огни, вокруг которых, и в лесу, и в поле, широко размещались спутники князя. Ночёвка их напоминала цыганский табор: кони ржали, пощипывая траву; слышалось беспрестанно ворчание и лай гончих собак, и раздавался весёлый говор и песни охотников, отзывавшиеся и удалью и беззаботностью.

Местечки, через которые проезжал Радзивилл, были рады гостям, потому что князь обращался со всеми не так, как другие магнаты, — он был постоянно и добр и приветлив.

Шляхетские сеймики, на которые приезжал Радзивилл, обнаруживали не столько его значение, как магната, сколько любовь к

нему шляхты и собственное его желание приобрести для себя расположение своих однословников.

Обыкновенно "Panie Kochanku" являлся на сеймики в Новогрудок, и останавливался в келье настоятеля тамошнего монастыря. Весь город при приезде князя кипел жизнью. Двор монастыря загромождали фуры с мукой, соломиной, с пивом, назначенным для угощения шляхтичей, которые, разведя огромные костры, укладывались спать на монастырском дворе. На счёт князя, во всё продолжение сеймиков, убивали каждый день двух волов для кормления шляхты. В течение этого времени он обедал каждый день два раза: раз со всею шляхтою на дворе, а другой раз только с избранными своими гостями в настоятельских покоях.

Желая как можно более расположить к себе шляхту, бывшую на сеймиках, "Panie Kochanku", окружённый толпою шляхтичей, нередко начинал с того, что снимал с себя шапку и дарил её одному из близ стоявших около него сограждан, потом снимал дорогой пояс и с ним делал то же; далее доходила оче-

редь до бриллиантов булавки, до кунтуша; и таким образом подобная раздача оканчивалась обыкновенно тем, что Радзивилл, раздевшись почти донага, садился в простую телегу, на которой стояла огромная бочка вина, и шляхта, приведённая в восторг любезностью и щедростью магната, впрягшись в телегу, тащила её на себе по улицам Новогрудка. Поезд останавливался время от времени, и каждый шляхтич, который только хотел, мог получить или кубок, или целый гарнец вина из бочки, находившейся на телеге; причём сам князь вытаскивал из бочки затычку и уговаривал шляхтичей избрать тех, кому он покровительствовал.

Действуя таким образом на умы шляхты, "Ranie Kochanku" прибегал порою и к другим, более замысловатым средствам. Так однажды, для большего привлечения на свою сторону новогрудской шляхты, он рассказывал ей, что раз как-то ему пришло на мысль оставить Литву и поселиться на Волыни; но что, однако, когда он молился в Боремле, услышал голос, который сказал ему: "Радзивилл! иди опять в Литву и не имей никакого дела с во-

лынской шляхтой; потому что она тебя не стоит. Иди в Литву, говорю тебе я, и кланяйся от меня новогрудской шляхте!"

Такими способами князь-воевода привлекал к себе толпу приверженцев, которые видели в нём магната, неотступно следовавшего обычаям своих предков, уравнивавшим всех шляхтичей между собою, как родных братьев. Так, самая одежда князя Карла Радзивилла отличала в нём любителя старого, а не нового порядка, потому что в то время, когда знатные паны, побывавши за границей и возвратившись на родину, покидали праотческую одежду, Радзивилл и среди варшавского двора не снимал старопольского жупана, присвоенного виленскому воеводству. Надобно также сказать, что любимый белый жупан Радзивилла был обыкновенно весь в пятнах и истаскан до крайности. В таком наряде князь-воевода, в бытность свою в Варшаве, зачастую являлся к щеголеватому Понятовскому, всегда напудренному, раздушенному, подшнурованному и завитому. Король, любивший щёгольство и опрятность, решился однажды заметить Радзивиллу ветхость его наря-

да.

– Наияснейший государь! – отвечал Радзивилл, – хорошо вам всё новое да новое, а ведь такой кунтуш, как на мне, уж тринадцатый Радзивилл, виленский воевода, носит, – так не удивительно, что он и поистёрся.

Этими словами Радзивилл намекнул Понятовскому на древность и знатность рода Радзивилла и на недавнюю известность Понятовских.

Но кроме одежды, Радзивилл отличался от других современных ему магнатов и религиозными верованиями, и образом жизни.

В его время учение французских философов, покровительствуемое королём, всё сильнее и сильнее проникало в высший класс общества. Внешние проявления религиозности, вследствие того, заметно ослабели; но Карл Радзивилл, выросший в глуши Литвы на глазах отца, который бил его батогами, несмотря на то, что Карл был уже в совершенном возрасте, занимал должность литовского мечника, и имел станиславскую ленту, – сохранил стародавние понятия и обычаи.

Вследствие этого, князь Карл был одним из

самых ревностных блюстителей внешнего богочитания. Он обнаруживал это при каждом удобном случае. Так, когда однажды, в сражении с русскими, упало почти у самых ног Радзивилла пушечное ядро и он остался невредим, то избавление своё от смерти он приписал особенному за него заступлению Богородицы, и поэтому он приказал поднять ядро и взвесить его, и когда оказалось что ядро, подлетевшее к Радзивиллу, было двенадцатифунтовое, то он велел сделать серебряное ядро в столько же фунтов и в память благодарности повесил его перед иконою Борунской Богоматери.

Следуя во всём, сколь можно более, старым обычаям, "Panie Kochanku" проводил всегда последние дни масленицы самым весёлым образом; но зато в первый день великого поста он начинал своё покаяние с сокрушённым сердцем и с соблюдением всех внешних обрядов.

Обыкновенно в последний день масленицы, уже на рассвете, Радзивилл заговлялся; на стол подавали постное кушанье, и когда поднимали с миски крышку, то из под неё выле-

тал воробей. Это по старопольскому обычаю должно было означать, что мясная пища кончилась и что пост уж начался. В это время Радзивилл приглашал своих собеседников говеть вместе с ним.

Поутру, при первом ударе колокола в несвижском костёле, Радзивилл с своими приятелями, надев на себя власяницу, с верёвкой на шее, и с головой, покрытой пеплом, шёл к костёлу, и он, и спутники его пели покаянные псалмы и каждый из них, в том числе и князь, нёс под мышкой по огромной плотно скрученной, ремённой плети.

Войдя в костёл, князь раздевался до пояса и приказывал делать то же самое и своим кающимся приятелям, и потом, читая псалом: "Помилуй мя Боже!" принимался хлестать по плечам сокрушавшихся грешников; каждый из них был и сам бит, и в свою очередь бил каждого из своих товарищей. Однажды, когда в один из таких дней, очередь быть битым дошла и до Радзивилла, то сначала все били его плетью слегка, по чувству особенного к нему уважения, но один из каявшихся шляхтичей, которого сам Радзивилл за особенные его гре-

хи отхлестал без сожаления, начал отплачивать ему тем же. "Довольно! довольно, *rańie kochanku*, – закричал тогда Радзивилл, – остальное покаяние отложим лучше до великой пятницы!"

Много разных забавных рассказов сохранилось о Радзивилле. Все они обнаруживают его доброту и ненадменность: он любил шутить с другими, но не оскорблялся, если и с ним поступали так же. Стараясь не отличаться в образе жизни от убогой шляхты, Радзивилл сам очень часто чистил в несвижской конюшне своих лошадей, седлал и запрягал их; славно пил, много ел, не любил карт и сёк без милосердия всех евреев, которые продавали их.

Он не делал ни шагу без огнива, нескольких карманных часов, шнипера для пускания крови, табакерки, чётки, печатки, запонки, кошелька для денег, пустого мешочка, зажимательного стекла, складного ножа и сабли.

Он чрезвычайно боялся чертей и привидений, и лёжа в постели, крестился беспрестанно.

Наружность Радзивилла можно описать в

следующих словах: он был высокого роста, довольно тучный, имел огромную голову и был в старости до такой степени лыс, что у него торчало на висках только несколько волос; усы у него были большие; он опускал их книзу, когда бывал не в духе, и наоборот – поднимал их вверх и крутил их, если был весел; голубые его глаза смотрели приветливо.

Князь Карл умер в Варшаве, в 1788 году, старым холостяком. Его пышность и щедрость к шляхте порасстроили доставшееся ему радзивилловское богатство; так что, по выражению одного современника, у него долги росли, как грибы.

"Ranie Kochanku" остался доньне, и в польской литературе и в преданиях, символом исчезавшего в его время народного польского характера. Он, когда иноземные обычаи стали уж запирать перед убогой шляхтой великолепные палацы магнатов, давал в Несвиже гостеприимный приют не только ей самой, но и всем её обычаям и преданиям.

Станислав Август, король польский

Фамилия Понятовских, от которой происходил последний король польский, не отличалась в Польше ни знатностью, ни богатством.

Впрочем, надобно заметить, по польским гербовникам, составленным после возвышения Понятовских, Понятовские вели своё начало от Лудольфа, герцога саксонского, жившего около 886 года, и от Гвидона Салингуэры, первого владельца Феррары. По родословным. там помещённым, король был в 29-м колене потомком Лудольфа и в 20-м потомком Гвидона. По сказаниям же польских геральдиков вообще, прямой родоначальник Понятовских, граф Торели, выехал в Польшу из Италии только в первой половине XVII века; он женился здесь на наследнице имения Понятова и принял фамилию Понятовского, приписавшись к гербу "Телец". Известно, что в польской геральдике не каждая дворянская фамилия имела свой герб, но всего было око-

ло двух с половиною сотен гербов, к которым и приписывались лица, поступившие в сословие польского дворянства.

Первый из Понятовских был храбрый воин и имел сына Францишка, родившегося 3 октября 1651 г. и отличившегося впоследствии в рядах Собеского, под стенами Вены; от брака с Еленою Невяровской он имел несколько человек детей и в числе их был Станислав, отец будущего короля.

Станислав Понятовский родился в 1675 году. По своему характеру и по своим деяниям он принадлежит к числу замечательнейших лиц в польской истории. Молодость свою он провёл в австрийской службе, под знамёнами принца Евгения Савойского. Король польский Август II, вступивши на престол, конфисковал имения Понятовского, за приверженность его к королю Станиславу Лещинскому. Будучи предан последнему, Понятовский естественно был приверженцем Карла XII, к которому он и удалился в 1709 году. Когда Карл XII жил в Бендерах, Понятовский отправился в Константинополь и там успел вооружить Порту против России. Следствием этого был прут-

ский поход, так неудачно кончившийся для Петра Великого.

Когда Карл XII был убит, Лещинский, потеряв надежду возвратить утраченную им корону, подписал своё отречение от польского престола, и отправил это отречение с тем, кто делил все его невзгоды и все опасности: он желал этим самым сблизить Понятовского со своим счастливым соперником – королём Августом. Смело и даже гордо явился тогда Понятовский перед Августом II, и объявив ему, что так как законный король польский и великий князь литовский Станислав Лещинский добровольно сложил с себя корону и уступил её курфюрсту саксонскому Августу, то он, Понятовский, признаёт теперь законным государем Польши и Литвы курфюрста саксонского Августа II.

Август II оценил благородное упорство Понятовского; он принял его чрезвычайно ласково, сделал ловчим великого княжества Литовского, потом старостой любельским, потом воеводой мазовецким, а наконец каштеляном краковским. Достигнув этого звания, Станислав Понятовский стал первым санов-

ником королевства; на этой должности, вместе с доходами с возвращённых ему родовых имений, он получал по крайней мере 300.000 злотых ежегодно. Почести и общее уважение окружали заслуженного воина. Оценив вполне ум и твёрдость Понятовского, Август II посылал его два раза польским посланником в Париж.

Непреклонный в боях и в несчастьях, каштелян краковский не устоял однако перед милостивой девушкой, и уж под пятьдесят лет женился на княжне Констанции Чарторыйской, которой в день свадьбы было не более 18-ти лет. Этот брак, несоразмерный по годам жениха и невесты, не принёс особенного счастья каштеляну краковскому; его молодая супруга была женщина гордая и строптивая в отношении к мужу – и, как говорила молва, была ветрена в супружеской жизни. Она подарила каштеляну двух дочерей: Людвигу и Изабеллу, и пять сыновей; из них четвёртому, Станиславу, судьба определила носить польскую корону. Он родился 17 января 1732 года, в местечке Волчине, в то время, как его мать была во всём блеске женской красоты, а отец,

удручённый годами и тревогами, испытанными в жизни, казался уже слабым и болезненным стариком.

Детство своё провёл будущий король в деревенском уединении, под надзором своей матери, которая позаботилась о том, чтоб дать ему если не основательное, то блестящее и разностороннее образование. В самые молодые годы он объехал почти всю Европу. С первого вступления своего в свет, красивый, ловкий и остроумный Понятовский нашёл счастье у женщин; а известно, что кого любят женщины, того полюбят и судьба.

В Париже Понятовский пользовался всеми земными удовольствиями; но они вовлекли его в неоплатные долги, и будущий король был, как несостоятельный должник, посажен в тюрьму, и только усиленные хлопоты знаменитой г-жи Жоффрен, прельщённой прекрасным узником, избавили Понятовского от тюремного заключения.

Из Парижа Понятовский поехал в Лондон, а оттуда в 1756 году отправился в качестве секретаря при английском посланнике Вильяме Гембари. Победы над женщинами сле-

довали повсюду за Понятовским. Некоторые из хорошеньких грешниц, поддававшихся его очаровательному влиянию, сохранили в своих записках откровенные рассказы о первой роковой встрече со своим искусителем, а также и о том, как они для него обманывали своих зорко стороживших мужей, и как они пробирались украдкой к счастливцу, под тенью ночи, этой верной подруги всех любовных свиданий.

В 1757 году Понятовский был назначен польским посланником в Петербург; близость его к канцлеру Бестужеву, подвергнувшемуся опале, а быть может и другие обстоятельства, заставили петербургский двор просить польского министра, графа Брюля, об отзыве Понятовского из Петербурга. При вступлении на престол Екатерины II, Понятовский был, по её желанию, назначен опять польским посланником в Петербург, и здесь этого любимца счастья и женщин ждала королевская корона.

Когда умер польский король Август II, Екатерина пригласила к себе Понятовского и предложила ему домогаться короны Пястов.

Понятовский выразил императрице своё удивление и заметил невозможность этого домогательства; но русские войска и сорок тысяч прусаков двинулись к Варшаве.

Обстоятельства между тем благоприятствовали Понятовскому. Сильнейшею в то время партией в Польше была партия князей Чарторыйских, ближайших родственников молодого Понятовского по матери. Чарторыйские, не надеясь достигнуть короны сами, так как они не пользовались расположением шляхты, замыслили посадить на польский престол своего племянника, рассчитывая, что при этом они будут властвовать его именем. Кроме опоры в партии Чарторыйских, Понятовский имел опору в общем расположении и уважении к его отцу. Притом вся почти молодёжь была на стороне умного и образованного Понятовского, как такого молодого человека, который имел достаточно сил для того, чтобы произвести необходимые реформы во внутреннем управлении и во внешней политике Речи Посполитой. Немалое число приверженцев имел очаровательный Понятовский в женском поле, и надобно сказать, вли-

ание молодых и хорошеньких женщин на дела государственные всегда и везде бывает сильнее, нежели обыкновенно думают.

Но если Понятовский лично привлекал к себе в Польше много сочувствия и подавал много надежд, то вся его семья (за исключением только старика отца), а в особенности мать его, Констанция, была предметом общей ненависти. Гордая и властолюбивая Констанция, не хотела вспомнить незнатность Понятовских; она воспитывала своих сыновей хотя и весьма тщательно, но в духе высокомерия, и мечтала приобрести для одного из них польскую корону. Происки и интриги Понятовской озлобляли против неё всех; вся Варшава называла её не иначе, как "градовой тучей".

Между тем молодые Понятовские, жившие в Варшаве и избалованные матерью, принадлежали к той беспечной молодёжи, которая делала долги без всякого расчёта и без всякой надежды на уплату, влюблялась в каждую хорошенькую женщину (и преимущественно в актрису), бегала от кредиторов, ничего не делала, ничего не совестилась и веселилась

каждый день до утренней зари, а иногда и подольше.

Один случай в особенности увеличил неприязнь в Варшаве к Констанции и к её семейству. Однажды у воеводы сандомирского, маршала Белинского, был великолепный и многолюдный бал. Яркими огнями блестели огромные палаты воеводы, громко раздавались резвые звуки мазурки, сливаясь с весёлым смехом варшавских красавиц. Но танцы вдруг были прерваны сильным шумом; началась, неизвестно из-за чего, ссора между старшим сыном Понятовского и молодым, богатым и знатным паном Тарло. Казимир Понятовский вызвал своего противника на поединок; на этот поединок сбирались съехаться родственники обоих соперников со своими надворными войсками, и таким образом частная ссора могла обратиться в общее кровопролитие.

Однако поединок состоялся прежде приезда родственников обеих сторон. В день, назначенный для поединка, вся Варшава побежала за Маримонтскую заставу; жёны оставили своих мужей, мужья своих жён, родители

своих детей и дети своих родителей, и наконец даже ученики самовольно оставили классы. Духовенство опасалось, что при этом дело дойдёт до общей схватки, и потому объявило, что не допустит в костёлы тех, кто пойдёт смотреть на поединок. Это однако не удержало любопытных, и на другой день после побоища костёлы наполнились множеством кающихся грешников и в особенности грешниц, и обряд присоединения их к церкви был совершен по тому же самому уставу, по которому совершается этот обряд над отлучёнными от церкви за тяжкие грехи. Между тем наставники отпускали розги ученикам, не бывшим в классе в день поединка. Вследствие этого, был плач в костёлах и вопль в школах.

На этом поединке погиб Тарло, любимец Варшавы. Народная молва громко говорила, что он был убит своим противником вероломно; а это обстоятельство в Польше, где понятия о рыцарской чести на поединке были сильно развиты, — усилило ещё более общую нелюбовь к Понятовским.

Впрочем к той поре, когда Станислав Понятовский явился искателем польской короны,

время уже изгладило до некоторой степени это печальное событие из памяти народной.

За несколько дней до избрания короля, шляхта расположилась под Варшавой, разделившись на воеводства и поветы; над каждой из таких стоянок веял особый значок с гербом воеводства и повета. В день избрания, примас королевства, архиепископ гнезненский, Лубенский, выехал из своего дворца в коляске, залитой золотом и обитой внутри пунцовым бархатом с золотым позументом. По старопольскому обычаю, в этом случае примас, несмотря на то, что он был духовное лицо, должен был въехать в поле верхом на коне, но Лубенский был слаб и ходил сторбившись, а потому он отправился в экипаже, окружённый блестящими всадниками; золотая сбруя их коней ярко блистала на утреннем солнце.

При приближении примаса, сенаторы пошли к нему навстречу. Примас вышел из коляски и, стоя среди первых сановников королевства, пропел "Veni creator". После этого он сел снова в экипаж и поехал по воеводствам. Объезжая шляхту, разделённую на поветы и земли, примас говорил: "Приветствую вас,

господа и братья, на этом поле, и спрашиваю вас, кого вы избираете в короли?"

Три раза опрашивал примас шляхту и три раза она повторяла имя Станислава Понятовского. Избрание нового короля было исполнено стародавним порядком.

Тогда примас, на другой день, объявил на поле государем Польши и Литвы Станислава Понятовского и, став на колени, запел под открытым небом: "Te Deum". Звук труб и гром литавр возвестили, что наступило новое царствование. Окружённый сенаторами и панами, примас поехал к Понятовскому известить его о высоком выпавшем для него жребии; после этого, примас в карете, а за ним король верхом на коне поехали в костёл святого Яна; густая толпа конных панов следовала за Станиславом. В дверях костёла примас приветствовал нового государя торжественной речью, и принял от него присягу в том, что новый избранник на престол будет в точности соблюдать предложенные ему обязательства так называвшиеся "Pacta conventa" [10].

Таким образом воцарился Понятовский.

В это время Польше грозили дух внутрен-

них раздоров и замыслы соседей, и только государь, твёрдый характером и напоминавший собою тени Баториев и Собеских, мог отвратить опасность, предстоявшую Речи Посполитой. Но вновь избранный король был не таков; ему были милы роскошные чертоги, а не воинский шатёр; его пленяло не бранное поле и не звук оружия, но офранцуженное общество с его остроумной беседой. На его сердце более действовал шорох шёлкового платья хорошенькой женщины, нежели шум родных знамён, разорванных и расстрелянных в боях и запечатлённых кровью. Новый король не был воин, и хотел прославить своё царствование такими делами, которые не пахнут порохом. Притом он хотел пожить среди роскоши и неги.

Как частный человек, Станислав Август был замечательной личностью, не говоря уже о его обаятельной внешности и о том чарующем голосе, которому невольно поддавался каждый, кто проводил с ним в беседе хоть несколько минут. Надобно заметить, что он объяснялся по-французски, по-немецки, по-русски, по-турецки, по-английски, по-испан-

ски и по-итальянски, как на своём родном языке, а по игривости своего ума мог смело мериться с Вольтером, с которым и был постоянно в самой дружеской переписке. Корреспонденция его с разными дамами всех наций была обширна, и отличалась той утончённой любезностью и той изящностью, которые были необходимым условием в сердечных сношениях светского человека XVIII века с прекрасным полом.

Переписки этого рода занимали последнего короля польского гораздо более, нежели все дела государственные и судьбы того народа, главою которого его сделала слепая прихоть счастья.

Мы не будем говорить здесь о делах политических, но взглянем собственно на личность короля Станислава Августа. В этой личности было много странного и противоположного. Тотчас по вступлении своём на престол, король окружил себя последователями Вольтера; но часто, после долгой вечерней беседы, проведённой в их кругу, в которой он не жалел насмешек, его можно было видеть падавшим ниц перед Распятием, или иконой Бо-

гоматери. Каждую пятницу запирался он на два часа со своим духовником, каялся перед ним в своих грехах с сокрушённым сердцем и со слезами на глазах. Каждый великий четверг он исповедовался всенародно, падая на землю перед ксёндзом, сидевшим посреди костёла перед главным алтарём. Каждый праздник и каждое воскресенье он бывал у обедни. Но и после обеден, и после тайных и явных покаяний, он принимался опять за прежнее в кругу своих остроумных собеседников.

Тоже самое было и в управлении государством: и здесь была видна нетвёрдость и переменчивость его убеждений. Первый его взгляд на каждое дело был верен и находчив, но всё последующее было никуда не годно. При открытии какой-нибудь должности, он тотчас же выбирал на неё кандидатом такое лицо, на стороне которого было общественное мнение, но потом изменял своё намерение, без всякой видимой причины отдавая открывшуюся вакансию какому-нибудь своему любимому придворному или какому-нибудь ничтожному человеку, бывшему под покровительством молодой или знатной дамы. Да-

мы знали слабость короля к их полу и ежедневно осыпали его записочками и личными просьбами, а Станислав Август ни в чём не отказывал им.

Характер короля представлял те же противоположности. Станислав Август был чрезвычайно кроток и не мог без живого участия не только видеть чужие страдания, но даже и слушать рассказы о них; а между тем, в течение своего царствования, он допустил столько жестокостей, над которыми бы остановился в раздумье самый грозный властитель. Притом, жестокости эти были сделаны без всякой надобности и вдобавок некоторые из них над лицами, совершенно невинными.

Хотя король не был вовсе мстителен, – он был скорее забывчив на всё дурное, – однако он преследовал некоторых из провинившихся перед ним разными способами, недостойными его высокого сана. Так, например, если кто-нибудь обидел чем-либо короля и потом имел какое-нибудь частное тяжёлое или судебное дело, то король секретными письмами склонял его судей на сторону его противников или же внушал им, чтобы они постанови-

ли над ним приговор без малейшего послабления. Этими поступками он потерял общее уважение. Преследуя одних до мелочности, Станислав Август в то же время осыпал иногда бесконечными милостями самых явных своих врагов.

В обращении короля проявлялись опять те же крайности: учтивый, любезный и снисходительный без меры, он иногда разгорячался до того, что давал пощёчины своей прислуге или бил своих лакеев палкой; но потом щедро награждал обиженных им и просил у них извинения.

Что касается женщин, то и в этом отношении у короля были свои особенные странности: часто он оставался совершенно равнодушным к такой очаровательной женщине, от которой сходили все с ума, и влюблялся до безумия в такую женщину, в которой не было ничего привлекательного. Одних из своих любовниц, с которыми он расходился не мирно, он награждал с непомерною щедростью; других же, которым он был как нельзя более предан; оставлял в нужде, очень близкой к нищете. Вообще, завоевание женских сердец

было едва ли не главною деятельностью этого миролюбивого государя. У одних магнатов он соблазнял хорошеньких молодых жён, у других сманивал и увозил любовниц. Волокитство короля доставляло ему множество врагов, которые при каждом удобном случае обращались в его политических неприятелей и колебали твёрдость его трона. Так, например, Станислав Август за похищенную им коварно у гетмана Огинского молодую девушку нажил себе в гетмане, одном из сильнейших магнатов Польши и Литвы, непримиримого и опасного врага, долго беспокоившего короля своею непокорностью и своими происками.

При всём этом, король любил науки и искусства. Обыкновенно в то время, когда по утрам завивал короля, в продолжение двух часов, парикмахер-англичанин, он был окружён учёными, поэтами и художниками, разговаривал с каждым из них о чём-нибудь очень дельно, или приказывал читать себе какое-нибудь сочинение, весьма метко оценивая все его слабые и хорошие стороны.

Обращение короля вообще было чрезвычайно любезно; с шляхтой он постоянно обхо-

дился как нельзя более приветливо. Обыкновенно во время королевского туалета, шляхтичи, приезжавшие в Варшаву из воеводств и областей, собирались в соседней комнате, для того, чтобы представиться королю после его туалета. Привыкшие свободно и бесцеремонно толковать на сеймах и сеймиках, шляхтичи не оставляли своей кровной привычки и в чертогах королевских. Унять шляхту прямо повелением его величества было неловко, а между тем её громкие разговоры и нередко запальчивые споры в покоях королевских мешали королю заниматься в соседней комнате учёной беседой в подобающей для этого тишине. Один из дежурных камергеров поднимался однако на хитрость: в то самое время, как шляхта, забывавшая, что она находится в королевском дворце, начинала слишком громко толковать между собою, канарейки под шумный говор принимались (как они делают это всегда) петь всё громче и громче. Догадливый камергер выходил в это время из королевской уборной и, махая платком на клетки, в которых сидели канарейки, сердито кричал на них: "Ах вы, беспокойные, тише!"

Королю мешаете!" Шляхтичи смекали, к кому относилось это, и переглянувшись друг с другом прекращали на время громкую болтовню.

Когда входил король в приёмную, все почтительно склонялись перед ним и старались выслушать каждое его слово. Король говорил увлекательно, то серьёзно, то шутливо, полным звучным голосом, внушавшим к нему доверие и расположение, так что всякий, говоривший с ним, поддавался какому-то приятному обаянию.

Любя сам непринуждённый и откровенный разговор, король очень скоро допускал его и со стороны своих подданных. Он сам повторял по несколько раз те остроумные ответы, которые приводилось ему слышать в разговорах с ними. Так, между прочим, он рассказывал, что в каком-то воеводстве жил шляхтич, несколько помешанный на том, что он король польский. Во время проезда Станислава Августа мнимый король представился настоящему.

– Приветствую мне равного, – сказал ласково король шляхтичу.

– Ваше величество, – отвечал шляхтич по-

чтительно, – действительно, по рождению я равен с вами, и по смерти мы опять будем равны между собою; но в настоящее время вы мой государь, избранный мною вместе с другими моими братьями шляхтичами, а я – верный подданный вашего величества.

Король любил роскошь и пышность. До него польские короли жили летом в Виланове. Жилище это, в котором умер славный Собеский и которое сохранилось доньше в своём первобытном виде, было скорее домом богатого польского пана, чем жилищем короля одного из самых обширнейших государств в Европе того времени. Понятовский не удовольствовался этой скромной резиденцией и выстроил под Варшавою летний королевский дворец Лазенки, не уступавший в ту пору, по своей роскоши, ни одному из увеселительных дворцов тогдашних европейских государей. Около Лазенок явились обширные пруды с лебедями, страусами и павлинами; на деревьях, в дорогих клетках, были развешаны обезьяны, попугаи и разные редкие птицы, а между тёмной зеленью тополей и каштанов мелькали белые мраморные статуи, куплен-

ные в Италии дорогою ценою. Роскошные цветы, рассаженные в клумбах, наполняли воздух своим благоуханием. В этом прекрасном убежище король польский, как частное лицо, с любезностью и предупредительностью светского человека, встречал приезжавшую к нему в гости варшавскую публику, и с большим удовольствием показывал каждому все свои постройки, свои статуи, картины, древние монеты и разные редкости. Само собою разумеется, что прекрасный пол пользовался в этом случае со стороны короля особым почётом и особым вниманием.

Вообще, царствование Понятовского имело большое влияние на утончённость и развитие общественной жизни. Те попойки, которыми так щеголяла Польша при королях из саксонского дома, стали исчезать при дворе Понятовского. Сам король отличался чрезвычайною трезвостью, хотя и любил роскошный стол; повара его, немец Шютц и француз Тремо, пользовались за своё искусство громадною, европейскою известностью. Из всех любимцев короля только один генерал Конаржевский славился страстью к попойкам и

неодолимою в них крепостью своей головы; все же другие лица, приближённые к королю, были в этом отношении люди нового покроя, – люди учёные, предпочитавшие серьёзный или остроумный разговор продолжительным вакханалиям.

В толпе щеголеватых и пудренных царедворцев короля Станислава Августа являлись: учёный историк Польши Нарушевич, неразлучный спутник короля в его поездках по государству; Богомолец, жизнеописатель древних поляков; поэты: Венгерский, Трембицкий и Красицкий; Богуславский, творец польской сцены; глубокомысленные законоведы: Вельгорский и Сташиц; славный польский грамматик, монах пиарского ордена Коптинский, Ваза, Осинский, двое Потоцких, Игнатий и Станислав, Парамович и Фадей Чацкий. Все эти лица, приближённые к королю, славились своим умом и образованием; а Чацкий был один из тех деятельнейших и благороднейших ревнителей просвещения, каких мало вообще встречалось в целой Европе.

Но многие хорошие качества Станислава Августа, как частного человека, были недо-

статочны для той поры, когда ему привелось править судьбами Польши. Среди тогдашних бурь необходим был Польше король-воин; но Понятовский не был рождён воином. Притом, к сожалению, он свои личные выгоды и удобства своей жизни предпочитал истинному благу возвеличившей его родины.

Против короля составлялись частые конфедерации шляхты, и в июне 1767 года было уже 178 конфедераций, условившихся соединиться в Радоме; а в 1771 году даже составилась заговор овладеть особою короля. Во главе заговорщиков были: Косинский, Стравинский и Лукавский; и только счастливое стечение обстоятельств избавило короля от замысла этих заговорщиков. В это время жил в Париже один из мелких владетельных князей, которыми в ту пору изобиловала Германия и которые искали по всей Европе или службы, если были храбры, или престола при помощи брачных союзов, если были миловидны собой и имели длинную родословную. Владетельный князь, о котором идёт теперь речь, не думал ни о том, ни о другом, но веселился в столице Франции до тех пор, пока кредиторы не

решились упрятать его в тюрьму, как несостоятельного должника. Заговор против Понятовского помог немецкому принцу избавиться от преследований заимодавцев.

Как только его светлость, а быть может и его высочество, изволил узнать об этом, тотчас, по совету бывшего в то время в Париже варшавского банкира Теппера, учреждён орден "Божьего Провидения", в память избавления польского короля от грозившей ему опасности. Звезда этого ордена была золотая, с изображением посредине всевидящего ока и с надписью: "Vide cui fide". Лента была самая щёгольская – небесного цвета с золотыми каймами. Теппер открыл у себя бюро этого ордена. Сначала патенты на этот орден продавались по 100 червонцев, потом упали в цене до 25. В Варшаве, в Вильно, в Париже, на Волыни и Подоле явилось множество кавалеров этого ордена, не сознававших в чём состояло их отличие, и за что они украшены такой блестящей звездой и такой великолепной лентой. Вскоре всё это обратилось в смех; на кавалеров немецкого ордена стали показывать пальцами; звёзды и ленты исчезли; но тем не

менее немецкий принц поправил свои дела: он не только вывернулся из своих долгов, но ещё зашиб, при помощи ордена, кое-какие деньжонки.

Гетман Браницкий публично укорял Понятовского в том, будто бы он самостоятельною своею родиной пожертвовал своему личному честолюбию... Область за областью отходила от Речи Посполитой, и король утверждал эти отделы, довольствуясь тем, что ему были оставляемы доходы с отбираемых от Польши областей.

Современные польские сказания передают, между прочим, о присоединении к Пруссии польских областей следующие подробности: от Пруссии в каждый повет было послано два комиссара; они приезжали в город, собирали народ и объявляли ему по-немецки, официально, а затем частным образом объясняли на ломаном польском языке, что такой-то город принадлежит его величеству королю прусскому, и что здесь уже не Польша, а Пруссия. После этого ставили столб, прибывали к нему бляху с чёрным орлом и отправляли в приходский костёл столько экземпляров

о присоединении какой-либо области к Пруссии, сколько было в этом приходе шляхетских дворов.

Король переносил всё это без особенного соболезнования, и был озабочен более собственными, нежели государственными делами. Самая главная его забота состояла в том, как бы добывать деньги. Он жил роскошно, тратил много, раздавал немало на убогих и на госпитали, а сам, вследствие всего этого, был постоянно без денег. Его факторы бегали по Варшаве с готовыми расписками, даже в 500 злотых, и занимали деньги в особенности у монахов, пугая их отнятием монастырских имуществ.

Скажем кстати, что после своего отречения от престола Понятовский оставил долгу на 34.000.000 польских флоринов. Он был должен и Евангелическому Обществу в Варшаве, и какой-то вдове Якобсон, и кармелитскому монастырю, и купцу Ришару 1800 флоринов, и за книги 2700 флоринов, и своим камергерам, Трембицкому, Пжецкому, и графине Тышкевич, и своему повару, и графине Мнишек за брильянты, и некоей г-же Камели

1.187.535 флоринов по невыплаченным пенсиям. О роде пенсионов, подлежащих ведению этой кассирши, догадаться нетрудно. Так, однажды, королю устроили на Висле особого рода праздник: на великолепной лодке посадили шесть самых красивых, полуобнажённых девушек в виде сирен. Они пели гимн в честь короля. После этого каждую девушку ему представили порознь, и каждая из них получила пожизненную пенсию, смотря по тому, в какой мере понравилась его величеству. Кроме того на короле было множество долгов по заложенным в разных местах бриллиантам, а также золотым и серебряным вещам.

Б 1795 году, после взятия Варшавы, Суворов объявил королю волю императрицы Екатерины о выезде из Варшавы. Король медлил; а народ, не оказывавший до того времени расположения к Понятовскому, собирался с шумом перед королевским дворцом... Король выехал из Варшавы между двумя рядами солдат, расставленных Суворовым по тем улицам, по которым должен был двигаться королевский поезд.

25 ноября 1795 года Станислав Август отрекся в Гродно от престола.

Он собирался отправиться на житьё в Рим, когда неожиданно получил от императора Павла приглашение приехать в Петербург. Король долго не соглашался на это, но его жена и окружавшие его дамы уговорили Станислава отправиться в Петербург... Все королевские драгоценности, при посредстве евреев, были проданы в Гамбург, и король отправился в Петербург.

Здесь он поселился в Мраморном дворце и жил уединённо.

В первый день 1798 года Павел приехал в гости к Понятовскому. С радостным лицом проводил король императора, после продолжительной с ним беседы, и обратившись к окружавшим его придворным весело сказал им: "Наконец судьба устала преследовать нас, – скоро мы увидим Варшаву!"

Ожидания короля не сбылись. 12 февраля, в полдень, он стал жаловаться на головную боль. Призванный для подания пособия, доктор Бедлер пустил ему кровь. Узнав о болезни короля, Павел поспешил к нему, но застал его

уж лишённым сознания. Император не отходил от умирающего короля ни на минуту. После исповеди Станислав Август скончался в 10 часов вечера. Ведённые им записки перешли, как пишут некоторые, в руки императора. Говорят, что король простудился, присутствуя на Иордане.

На мёртвого короля сам император надел корону, а в день его погребения ехал за гробом верхом до самого костёла, с опущенной книзу шпагой. Прах Понятовского лежит в Петербурге, в римско-католическом церкви св. Екатерины, по правую сторону главного алтаря.

Король был женат на Грабовской, урождённой Шидловской, с которой он жил долго вне брака и с которой обвенчался тайно в 1784 году, но до своего выезда из Варшавы не объявлял её своей женой, потому что, пред избранием его в короли, сейм обязал его жениться только на той, на которую ему укажут государственные чины, а между тем выбор их не падал на Грабовскую.

Понятовские герба "Телец", получившие в 1764 году, 18 декабря, по определению сейма,

княжеское достоинство, существуют и поныне в потомках братьев короля; одни из них носят свою родовую польскую фамилию, а другие живут в Италии под именем князей ди Монте-Ротондо.

Свадьба Каси

В позднюю дождливую осень, в сумерки, когда на колокольне костёла в одном многолюдном местечке замолк уже протяжный и унылый звон, призывавший к вечерней молитве, тихо плёлся к этому местечку, под мелким, моросившим целый день дождём, отставной служивый капрал польских войск — Бурчимуха.

В местечке, к которому подходил старый служака, была в это время ярмарка; много набралось в местечко отовсюду разного народа. Здесь целый день, по грязным и тесным улицам, с самого раннего утра, медленно двигались фуры, колымаги, кочи и нетычанки, раздавалось хлопанье бичей, и слышались крики и перебранки. Целый день шныряли из одного конца местечка в другой факторы, приподнимая на бегу длинные полы своих чёрных, прадедовских халатов. Одни из факторов или доставали, или разменивали деньги; другие улаживали куплю или продажу; третьи бежали только к смазливеньким обитательницам местечка с разными поручениями от панов и

паничей. Но теперь, когда подходил Бурчимуха поздним вечером к местечку, в нём не было никакого движения; на улицах не было видно ни души, так что можно было бы подумать, будто вымер весь город, если бы на огромных лужах, стоявших на улицах, не отражались огни, горевшие в окошках небольших домиков, да посреди общей тишины не доносились из ярко освещённой корчмы звуки скрипки и цимбалов, сопровождаемые то весёлым припевом, то громким топаньем каблуков в разгульной, нескончаемой мазурке.

Старого служаку, усталого от большого перехода, не слишком занимало веселье, разгоравшееся в корчме всё более и более с каждым часом. Ему хотелось только добраться поскорее до тёплого угла, хорошенько высушиться и расправить свою спину, на которой он тащил довольно увесистую котомку с разными пожитками.

Вошёл наконец Бурчимуха в первый дом, стоявший при входе в местечко, и осведомился, нельзя ли ему приютиться здесь на ночлег? Отвечали ему, что весь дом набит бит-

ком приезжими на ярмарку гостями и посоветовали ему, чтоб он шёл подальше. Дальше было тоже самое. Обошёл таким образом Бурчимуха домов десять: где он ни постучится, где ни попросится на ночлег, везде один и тот же ответ – нет места, да и только!

Посообразил, однако, служивый и то, что стоянки военного человека не очень любят ни по городам, ни по местечкам, ни по деревням, и что быть может нарочно отказывают ему в ночлеге, побаиваясь, что служивый, по своей привычке или побуянит, или, что ещё хуже, приволокнётся, пожалуй, за хозяйской женой или за хозяйской дочерью, если только они для этого покажутся пригодными.

"Нарочно спрашивают они меня, – думал Бурчимуха, – военного народа не любят!" Поэтому, обходя далее местечко, служивый заявлял всем, что он человек смирный и что с утренней же зарёй взвалит себе на плечи котомку и пойдёт дальше во имя Божие своим путём-дорогой, не обидев ни старого ни молодого, ни молодницы ни старухи.

Ничто однако не помогало; во всём местечке не нашёл себе капрал уголка для ночлега.

– Не отыщешь нигде здесь для себя места, – сказал наконец Бурчимухе в одном доме хозяин, вышедши на крыльцо, – давным-давно здесь всё занято; придётся отправляться тебе за местечко; там есть на большой дороге хата, видишь, где светится огонёк (и при этом хозяин указал рукою на мерцавший вдалеке слабый свет). Да впрочем, – добавил в раздумье хозяин, – туда идти тебе нестать...

– А что? – спросил торопливо служивый.

– Да струсил, пожалуй, потому что в той хате водится теперь нечистая сила, никому она не даёт покоя.

– Так только-то, – улыбнувшись перебил служивый, – ну, приятель, это нам ни по чем!

Поблагодарив за совет хозяина, Бурчимуха поплёлся на огонёк. Далеко показалось служивому колесить в обход по дороге; известное дело, по прямому пути дойдёшь поскорее, и вот Бурчимуха живо, по военному, разобрал высокий плетень и пошёл вперёд на приветный огонёк, не сворачивая ни шагу в сторону.

Было уже совсем темно в это время; не без труда перелезал служивый то через гряды, то через рытвины, то через ямы, решительно до-

бираясь до ночлега прямо без малейшего обхода. Вот наконец очутился он перед хатой, постучался в двери и после опроса тоненьким женским голосом: "кто там?" двери отворились.

Бурчимуха вошёл в чистенькую комнатку и увидел перед собой прехорошенькую девушку. Девушка, впустив служивого, опростью выбежала сама из каморки и позвала отца и мать.

– Гость в дом – Бог в дом, – сказал отец девушки служивому, повторяя, вместо приветствия, старопольскую поговорку. – Рад я, приятель, твоему приходу, да уложить тебя на беду негде; там спим мы сами в большой тесноте, а здесь тебе оставаться не приходится, – добавил хозяин, боязливо озираясь.

– Отчего ж? – спросил твёрдым голосом служивый.

– Ходит здесь нечистая сила, – робко сказал хозяин, и при этих словах муж и жена проговорили набожно: "Езус-Мария!"

– Трусы вы, трусы! – сказал презрительно капрал, покачивая головою и посматривая пристально на хозяйскую дочь.

Посмотреть на неё стоило. Кася (уменьшительное имя от Катерины) была девушка лет восемнадцати; прямо́те и стройности её стана могли позавидовать любые красавицы Варшавы и Кракова; густая, крепко заплетённая коса высоким бугорком поднималась над тёмными волосами; на смуглом лице Каси проби́вался яркий румянец, на щеках её были ямочки, а глазки блестели, как блестя́т два огонька в бессарабской степи, когда их разведут там в тёмную осеннюю ночь кочевые цыгане около своего табора.

"Славная девушка, – думал про себя служивый, – а кому-то она достанется? стар я для неё, да и грудь-то у меня навывлет прострелена пулей".

Покуда так думал служивый, хозяин, хозяйка и их дочь суетились, готовя для прохожего горелку, тютюн и варёную печёнку. Разговаривая с добрыми хозяевами о местном ксёндзе, о ярмарке, о костёле, о том и другом, капрал попивал горелку, покури́вал трубку и закусы́вал печёнкой.

Но вот пора и спать; уже долетел до хаты глухой бой одиннадцати часов на костельной

колокольне. Сжалось сердце добрых хозяев, когда они, пожелав Бурчимухе приятного сна, пошли спать, оставив завернувшего к ним прохожего в добычу нечистой силе. Одна только Кася улыбнулась лукаво, проговорив скороговоркой капралу: "Покойная ночь!"

– Вздор, – сказал Бурчимуха, оставшись один в страшной комнате, – вздор! скорей я поймаю чёрта за чупрун, нежели он схватит меня за ус, – и при этом старый служивый, с горделивой осанкой, покрутил свой седой ус, доходивший до самого плеча.

Затем он налил себе порядочный шкалик горелки; выпил один, выпил другой, выпил и третий, закурил трубку и, положив подле себя толстую дорожную палку, стал поджидать нечистой силы.

Вот опять послышался бой костельных часов. Они ударили полночь. За каждым медленным их ударом, капрал спешил выпивать по шкалику горелки. При последнем ударе часов, Бурчимухе показалось, что вместо одного шкалика – стоят на столе два, вместо одной свечки – горят две, и наконец вместо одной трубки – у него изо рта торчат две.

– Так вот где она, эта дьявольская сила! – крикнул громко служивый, швырнув с размаха о пол опорожнённую им стеклянную фляжку. Звонко задребезжали на полу разбитые куски стекла; но ещё не кончилось их дребезжание, как вдруг за дверями послышался явственный звон цепей. Двери распахнулись, и в комнату вошло какое-то чёрное страшилище с оковами на руках.

Капрал не струсил, он даже не выпустил трубки изо рта и со всего разбега подскочил к привидению, схватил его за чуб и принялся колотить его палкой изо всей мочи. Видно было, что нечистая сила не приучила себя в такому обращению. Нечистый упал перед капралом на колени и стал просить о помиловании, ударяя себя в грудь так сильно, как никогда не бьёт себя перед исповедью самый тяжкий грешник.

– Кто ты такой, приятель? – грозно спросил капрал, держа нечистого за чуб и замахиваясь на него палкой.

– Я... я... работник в здешнем доме, – отвечало привидение, дрожа всем телом, – имя мне Блажек; я крепко люблю Касю, и она не

смотрит на меня искоса, да вся беда наша в том, что отец и мать не хотят её за меня выдать...

– Ну, так что ж? – перебил Бурчимуха.

– Так вот я, – продолжал оправляясь Блажек, – и шляюсь так, как ты меня теперь видишь, каждую ночь, и кричу что есть силы: "не дам вам ни покоя, ни отдыха, пока не выдадите вы Касю за Блажека!"

Служивый выпустил из своей руки чуб Блажека.

– Эту чёрную накидку с серебряным крестом на спине, – продолжал чистосердечно Блажек, – дал мне костельный сторож; ей накрывают в костёле покойников, а цепи я отбил от плуга. Вот всё что могу сказать вам, вельможный пан, – добавил Блажек, – только не выдавайте меня хозяину, а лучше всего устройте дело так, чтоб Кася была моей женой.

Служивый стал ходить по комнате мерными шагами, потирая себе лоб.

– Если вельможный пан сделает мне это, – заговорил снова Блажек, – то он может приходить ко мне и к Касе во всякое время и пить у

нас горелку, сколько его душе будет угодно.

– Славно! – крикнул Бурчимуха, – иди теперь с Богом, а завтра увидимся.

Блажек чуть не повалился капралу в ноги перед своим уходом, а Бурчимуха разлётся на скамейке и захрапел, подумав однако наперёд о том, как он лихо будет пить на даровщину.

Только что забрезжилось утро, как хозяйка и хозяин заговорили между собой о капрале.

– Нужно будет, – сказала печально хозяйка, – послать заказать гроб, да попросить отца племана со святой водой: верно нашего гостя уж задушила нечистая сила.

– Вечный покой его душе, – отвечал заунывным голосом хозяин, – охота же ему была самому искать смерти! На то впрочем и родятся военные люди, – добавил он, махнув рукой.

Медленным шагом и с сильным замиранием сердца поплелись хозяева к той комнате, где они оставили ночевать капрала.

– Всякое дыхание да хвалит Господа!.. – крикнули в один голос испуганный муж и жена, увидев шедшего к ним навстречу Бурчи-

муху, и уж хотели бежать от него в запуски, как колени у них подкосились от страху, и они остановились на одном месте, будто вкопанные.

– Да, да, хозяева, плохо у вас в хате, – заговорил зловещим голосом капрал, – помучился я было в нынешнюю ночь; хорошо ещё, что я наткнулся на такого же служивого, какой я сам.

С ужасом начали хозяева спрашивать Бурчимуху о том, что с ним было в продолжение ночи.

Прежде всего он потребовал себе горелки, а потом рассказал, что в хате хозяев поселился покойный прадед хозяина, который согрешил перед прадедом Блажека, и который теперь за это не может иметь покоя на том свете, до тех пор, пока правнучка его не выйдет замуж за Блажека.

– Плохо вам будет от него! – добавил Бурчимуха. – Порассказал мне покойник, что он был также капралом и в том самом регименте, в котором служил я; а известно, что наши полковые не дают никому спуску.

Простаки поверили старому капралу, поре-

шили выдать Касю за Блажека, и весело отпраздновали их свадьбу. Хитрый сват пил в этот день за четверых; на другой день молодые повели его, на свой счёт, в соседнюю корчму, на третий день в другую, а потом стали угощать его горелкой каждый день на дому.

Скучно было капралу только то, что ему приходилось пить одному. И вот он начал приискивать для себя товарищей в местечке. На что на другое не скоро подыщешь годного человека, а для выпивки найдёшь людей целыми десятками; и действительно, сегодня капрал угощал на счёт Блажека трёх, а завтра угощал на его счёт пятерых, а там стал уже созывать пьяниц десятками. До последнего гроша издержался Блажек: пришлось ему забирать горелку в долг.

– Господин капрал, – сказал наконец Блажек своему свату, – пейте сами, по нашему уговору, сколько вашей чести будет угодно, – хоть купайтесь сами каждый день в горелке, пусть всё это будет вам на здоровье, но только оставьте ваших приятелей. Я-то с моей Касей пробьюсь как-нибудь всю жизнь, но у нас

будут и детки, – ведь мы не для шутки обвенчались; а им придётся, по милости вашей, идти по миру...

Вспыхнул от гнева капрал при таком замечании.

– Так вот ты, приятель, каков! – крикнул он на Блажека, и не говоря более ни слова побежал к его тестю, которому и рассказал начисто все проделки его зятя.

Обомлел с первого раза пан Ваврек, когда узнал, что его Кася досталась Блажеку не совсем чисто, по-христиански, а при помощи каких-то дьявольских затей; он опрометью кинулся к войту, к главному блюстителю порядка и тишины во всём местечке. Войт. созвал тотчас же старост и понятых, и начался у них суд над Блажеком.

Все заседания этого суда сопровождались непомерным истреблением горелки, которою почивал судей отец Каси, стараясь этим способом возбудить в них беспощадную строгость к обманщику. В этом суде, не подводя никаких статутов, а только под влиянием горелки, постановили: "посадить Блажека в одну клетку, а Касю в другую, и обо всём что

случилось рассказать отцу плебану". Последнее исполнили тотчас, но первое решение было трудно выполнить на деле, потому что подсудимые не ждали своего приговора и давным-давно улепетнули из местечка...

Между тем осеннее ненастье прошло; ветер разогнал густые тучи на юг и на север, и в то время, как судьи произносили над Касей и над Блажеком свой окончательный приговор, на голубом вечернем небе проглянул серебряный ноготок молодого месяца.

Само собою разумеется, что упоминать в нашем рассказе о молодом месяце было бы вовсе не кстати, если бы у всех рядивших и судивших дело Каси и Блажека, а в особенности у первого его зачинщика, у Бурчимухи, не болела от горелки голова, начиная с первого появления молодого месяца и до конца полнолуния...

Албанская банда

Часов около двенадцати ночи всё смолкло в Новоградском монастыре, где остановился князь Кароль или Карл Радзивилл, воевода Новоградский, приехавший в город на шляхетский сеймик. На обширном монастырском дворе, между множеством нагромождённых в беспорядке фур, нетычанок, повозок и телег, кое-где догорали ещё костры, разложенные с вечера. Сентябрьская ночь была свежа, а полный месяц высоко стоял на тёмно-голубом небе, обливая серебристым светом старинные монастырские здания. В длинном монастырском коридоре, с низкими сводами, который вёл в настоятельской келье, вспыхнул в последний раз догоревший ночник и погас, а яркий луч лунного света, ударив в узкое окно коридора, лёг длинной полосой на кирпичном его полу. Затих в коридоре и шум шагов, отдававшийся под сводами непрерывно в течение целого дня, потому что комнаты настоятельские были отданы под помещение князя-воеводы, а к нему и от него весь день, с утра до вечера, валила шляхта и бегала мно-

гочисленная прислуга.

Князь в комнате настоятеля лежал на постели, накрыв одеялом и голову; в ногах его, под постелью, улеглась любимица князя большая собака Непта, неразлучный ночной сторож князя; а на другой постели, в той же комнате, улёгся отец Идзий, духовник князя, пользовавшийся особенным его расположением.

Казалось, все успокоились: и князь, и Идзий, и Непта; но вдруг собака заворчала, как бы почуя в комнате незримого гостя, потому что свет месяца, как день, озарял её, в ней не было видно никого из посторонних, а между тем Непта продолжала ворчать оскиливая зубы.

– Да будет похвален Иисус Христос! – сказал громко Радзивилл, высунув боязливо голову из-под одеяла.

– И во веки веков! – добавил ксёндз.

– А ты не спишь ещё, отец Идзий? – спросил князь.

– Стал было засыпать, и мне начало сниться...

– А слышал ли, как ворчит Непта? верно ко

мне пришёл Володкович.

– Да будет похвален Иисус Христос, – сказал ксёндз, перекрестившись; князь сделал тоже. Между тем Непта, устремив глаза на светлую полосу, которую на полу образовал свет месяца, всё ещё сердито ворчала.

– А что, – спросил Радзивилл, – правда ли, отец Идзий, что души умерших приходят на этот свет из чистилища для того, чтобы просить родных и друзей молиться за них?

– Так так, ясный князь, – отвечал отец Идзий, – приходят, конечно, приходят.

– Так видно и ко мне пришёл теперь Володкович, – сказал Радзивилл, – он всё стоит у меня перед глазами. Ты лучше всех должен знать, отец Идзий, как я любил его, и чего я только не делал для успокоения души его. В Пизе, во время страшной чумы я собственными руками хоронил умерших от этой болезни, давши обет исполнять это за упокой души Володковича; пощусь, как тебе, отец Идзий известно – и как ещё пощусь: каждую годовщину смерти Володковича ничего не ем; какие богатые вклады давал я монастырям, сколько отслужил обедней и поминовений,

но видно душа его всё ещё не успокоилась.

– Да, ясный князь, воля Божия для нас тайна непроницаемая.

При этом и князь, и ксёндз набожно перекрестились.

Помолчав немного, князь сказал:

– А что, отец Идзий, ты не спишь ещё?

– Стал было засыпать; а что угодно вашей княжеской милости?

– Сотвори прежде молитву за упокой души Володковича, а потом я скажу новость.

Ксёндз исполнил желание князя.

– Я хотел сказать тебе, что отец Матий получит завтра 50 дисциплин за упокой души Володковича; ведь он проиграл заклад, венгерское было не сорока, а только тридцатипятилетнее.

– Ничего, – отвечал позёвывая ксёндз, – он человек здоровый, – и повернувшись на другой бок громко захрапел.

Для объяснения новости, сообщённой Радзивиллом своему духовнику, нужно заметить следующее: в католических монастырях есть род покаяния, или, вернее сказать, вообще богоугодного дела, состоящий в том, что сми-

ренный раб Божий стегает себя сам, или, по его просьбе, его стегают другие ремённой плёткой, называемой дисциплиной. Радзивилл, который, как мы видели, всего более заботился об упокоении души своего прежнего друга и сподвижника пана Володковича, придумал с этою целью особое средство. Он держал с ксёндзами, а особенно с бернардинами, о чём-нибудь заклад с тем условием, что если проиграет он, то он платит, смотря по уговору, десять, тридцать, пятьдесят и более дукатов; а если проиграет противник, то он должен получить, тоже смотря по уговору, известное число дисциплин за упокой души Володковича. Много таким образом было выдано дукатов, но зато и много спин было исхлестано порядком. В тот день, к которому относится наш рассказ, князю посчастливилось выиграть заклад, и потому он, чрезмерно бо-явшийся и чертей, и домовых, а в особенности Володковича, был несколько покойнее обыкновенного, зная, что завтра утром жирная спина бернардина будет искупать земные грехи Володковича. Под влиянием этой успокоительной мысли, князь поцеловал висев-

ший у него на груди образ Богоматери, наследственно дошедший к нему чрез длинный ряд радзивилловских поколений, перекрестился, вздохнул и, по примеру отца Идзия, перевернувшись на другой бок лицом к стене, скоро захрапел.

Непта тоже успокоилась и только изредка ворчала сквозь сон.

Но кто же был Володкович, так пугавший Радзивилла своим приходом с того света? Об нем мы расскажем, так как он был одним из характеристических представителей своего буйного времени, но прежде нужно рассказать об албанской банде, к которой принадлежал Володкович, будучи одним из самых деятельных и смелых её членов.

Князь Кароль Радзивилл основал албанскую банду, или союз албанчиков, из людей ему преданных, в имении своём близ Несвижа, называемом Алба, в то время когда он ещё был мечником литовским. Чтоб попасть в это общество нужно было быть порядочным, оседлым шляхтичем, удалым рубакой, лихим наездником на самой бешеной лошади, хорошим охотником и вообще бодрым и

отважным; нужно было, как говорят поляки, уметь держать чёрта за рога. Князь не мог дать никому патента на звание албанца без согласия, по крайней мере, двух третей всего общества. Обязанность членов была: на всякий призыв князя являться к нему на коне в полном вооружении и, несмотря на опасность, подставлять лоб за честь князя-воеводы, за свою собственную и каждого из членов. В уставе банды между прочим было сказано, что два албанчика, поссорившись между собой, не должны были тягаться судебным порядком, но должны были обратиться к посредничеству одного из своих товарищей, который, смотря по существу дела и по сопровождавшим его обстоятельствам, мог назначить соперникам поединок на саблях, или кончить между ними дело миролюбивым соглашением. Вельможи вменяли себе за честь быть членами албанской банды. Патенты на звание членов подписывались князем, канцлером банды был упоминаемый нами пан Володкович, а устав этого полурыцарского и полуразгульного общества написал пан Пиццалло, бывший наставник князя и, как увидят

читатели, один из замечательнейших педагогов и древних, и средних, и новейших времён.

Как-то однажды, после жаркого июльского дня, пан Пицалло, чиншовый шляхтич, вышел на крыльцо своего небольшого домика; солнце уходило на ночной отдых и яркими багровыми лучами обливало верхушки литовских сосен. Перед домиком пана Пицалло вилась изгибами и терялась в опушке леса просёлочная дорога, ведущая на Несвиж; часто с томительным ожиданием посматривал на эту дорогу бедный шляхтич, ожидая то княжеского гонца, то своего фактора из Несвижа. Но в настоящее время пан Пицалло смотрел на дорогу как-то бессознательно, любуясь только тою картиною, которую так привлекательно рисовала для него сама природа.

Вдруг на конце дороги показался нёсшийся во весь опор всадник; зоркий глаз Пицалло тотчас увидал, что это не был один из тех наездников, которыми в то время славилась Польша, и которые были настоящими центаврами, т. е. людьми, приросшими к лошадям. Напротив, всадник, который явился пред

паном Пицалло, казалось, каждую минуту готов был свалиться с лошади; он не только подпрыгивал на ней, но длинные ноги, перетягиваемые тяжестью туловища, теряли равновесие и поднимались по временам до самых ушей лошади. В этом наезднике пан Пицалло узнал несвижского фактора Ицку. Отломив огромный сук, сын Израиля нещадно колотил по бокам тощее животное, на хребте которого он сидел без седла и без стремян; разные понукания скакавшему коню он перемешивал с восклицаниями: ню, ню, ай, ай, их вел дир гебен, т. е. я тебе дам, и без милосердия валял хвостотиной своего буцефала.

Ицко подъехав, против обыкновения, почти к самому крыльцу панского дома, соскочил с коня, который, пользуясь освобождением от ноши, стал тяжело вздыхать; а Ицко, приподнимая свою широкополую шляпу, подогнув колени, съёжась и кланяясь на каждом шагу, подошёл к пану Пицалло.

На вопросы Пицалло Ицко прежде всего отвечал обыкновенными возгласами евреев: уй! ой!, причмокивал языком, что служит у них выражением сильных ощущений, потом

обнаруживал удивление, каким образом пан Пицалло не знает ещё о чем толкуют не только "жиди", но и все большие паны в Несвиже, Слуцке, Минске, Варшаве и Кракове, и наконец заговорился до того, что начал уверять пана Пицалло, будто сам великий князь литовский, наияснейший пан круль [король], егомосць [Его Величество], только о том и толкует целый день с бискупами, сенаторами воеводами, гетманами.

Выведенный из терпения болтовнёй Ицки, пан Пицалло решительно потребовал, чтобы он объяснил в чём дело, и тогда Ицко, сложив на правой руке большой палец с указательным в виде кружка, стал мерно помахивать ими и сказал торжественно-таинственным голосом, что княгиня Радзивилл хочет непременно научить своего сына князя Кароля читать и писать, и в заключение вскрикнул: "ой! аклоцен, кто бендзе у него рабитом? ой!" т. е. кто же будет у него учителем.

Конечно, приискание учителя не могло быть, особенно в то время, важным событием в Литве; но в настоящем случае важно было следующее обстоятельство: княгиня Радзи-

вилл объявила, что она подарит два самых лучших из всех своих фольварков тому, кто научит сына её Кароля читать и писать без принуждения, по собственной его охоте. Таким образом к педагогическому ремеслу примешалось феодальное право, и, конечно, получить два радзивилловских фольварка было дело нешуточное. Только что об этом проведали жидаы в Несвиже, как каждый из них поспешил к своему пану с объявлением об этом. Что нужды, если сам пан едва умеет читать и писать, рассуждали они; на то он и пан, чтобы выдумать, как поступать в трудном деле. С этою вестью поспешил и Ицко к пану Пиццалло, который сам был вовсе не грамотей, но готов был взяться за что угодно; учить ли в Сморгонях медведя ходить на задних лапах, или просвещать князя Радзивилла.

Получив такую весть от Ицки и давши ему за труды злотый, пан Пиццалло на другой день, под предлогом, что хотел засвидетельствовать своё почтение княгине, отправился в Несвиж, желая на самом деле узнать исподтишка те условия, которые княгиня предлагает воспитателю своего сына. Там он узнал,

что уже маленького князя пытались учить ксёндзы, но дело кончилась тем, что они, выведенные из терпения его неохотою учиться, принимались хлестать его огурками, т. е. деревянными головками кисточек, которые находятся на концах толстых шнуров, служащих вместо поясов для католических монахов некоторых орденов. Пан Пиццалло узнал также, что один запальчивый ксёндз отхлестал бедного Кароля чуть не до полусмерти; что вследствие этого княгиня, действительно, ищет наставника, который бы научил её сына читать и писать, без помощи розг, дисциплины и огурков.

Пан Пиццалло думал не долго и решился предложить себя в наставники молодому князю. Дело было слажено. Едва ли все методы преподавания представят что-нибудь похожее на ту, которой придерживался шляхтич, неожиданно попавший в педагоги, из желания владеть двумя фольварками.

В день, назначенный для первого урока, пан Пиццалло не взял ни букваря, ни понудительных инструментов, бывших в то время в большом ходу, а велел притащить в сад, где

хотел давать уроки, большую белую деревянную доску и кусок угля, а сам между тем зарядил шесть пистолетов.

– Ну, князь, – сказал Пицалло Радзивиллу, – примемся с помощью Божиею за учение, – и отмерив сорок шагов от скамейки, на которую он положил пистолеты, поставил в этом расстоянии доску и потом на ней написал углём букву А.

– То А! – громко крикнул Пицалло, указывая князю своею саблею, заменившею указку. – Помни же, что это А; пáль-го, т. е. стреляй в него, – вдруг вскрикнул Пицалло, показав Радзивиллу глазами на лежавшие перед ним пистолеты. Князь схватил один из них, быстро откинул назад рукава своего кунтуша, раздался выстрел. и А было подстрелено в самую перекладину.

Таким образом почтенный педагог перешёл в букве В, там в С, потом к D и так далее. После этого он стал учить князя складывать по следующему способу: написав целый алфавит, он приказывал своему ученику стрелять в одну букву, потом в другую, и таким образом выходили склады, а потом и слова.

Маленький Радзивилл сделал непомерные успехи, а Пицалло получил обещанное вознаграждение, и кроме того в Литве заговорили, что многие государи убедительно просят пана Пицалло в наставники к своим детям. Как бы то ни было, но пан Пицалло имел в глазах князя Кароля значение человека необыкновенно учёного, и потому, учреждая албанскую банду, он поручил Пицалло написать её устав.

Число албанчиков было огромное: они составляли главную опору могущества князя Радзивилла. В Слонимском уезде число албанчиков доходило до того, что если, как говорили современники, замахнёшься палкою на собаку, то непременно ударишь албанчика. Хотя главным образом большинство албанчиков состояло из убогой шляхты, было привязано к Радзивиллу за его щедрость, потому что они ели его хлеб, и хлеб вкусный, а он, как сильный магнат, помогал членам основанного им общества всем – и деньгами, и силою, однако к чести албанчиков надобно сказать, что они не изменили своему покровителю и в то время, когда его постигло несчастье,

когда он, по приговору короля и сейма, был наказан банницией, то есть изгнанием из пределов отечества, и когда несметные его богатства были конфискованы. Конфискованное имение следовало по закону отдавать в аренду, и албанчики условились между собою взять на себя все конфискованные имения князя Кароля. Только что проведала об этом шляхта, как никто не решился брать в аренду имения изгнанника, боясь мщения его приверженцев – албанчиков, поэтому они сами и разобрали радзивилловские волости за самую ничтожную плату в пользу казны и постановили между собою посылать к князю за границу половину всех доходов; таким образом миллионы переходили ежегодно чрез варшавских банкиров в Рим, Венецию, Стамбул, всюду, куда ни являлся изгнанник, по-видимому лишённый насущного хлеба, а между тем живший с такою роскошью, которая, как чудо, поражала современников, и которая потом уже казалась баснословною. Это обстоятельство породило, между прочим, выдумку о каком-то неразменном радзивилловском дукате, величиною с жерновой камень.

Каждый член албанской банды подписывался "радзивилловский приятель" и назывался другом дома, "домовником". В разговоре с албанчиком князь называл его "пане-коханку", т. е, почти то же, что: мой любезный, а так как он постоянно говорил с албанчиками, то он до того привык к этим словам, что они сделались его постоянною поговоркою, и он кстати и не кстати повторял их в разговоре с кем бы то ни было, даже с самим королём, и это было причиною, что он во всей Польше был известен под именем: "пане-коханку"! Хотя между албанчиками с их главою ясно проглядывали отношения покровительствуемых в своему покровителю, тем не менее однако князь Радзивилл переносил их дерзости не с запальчивостью магната, но с снисходительностью доброго человека. Так однажды он крепко поссорился с одним из албанчиков, паном Игнатием Боровским; долго продолжалась эта ссора, наконец приятели уговорили Боровского отправиться в Радзивиллу на мировую. Богато-разодетый Боровский явился в князю в день его ангела, когда князь был окружён огромною толпою гостей.

– Ну что слышно нового? – спросил Радзивилл Боровского, стараясь заговорить с ним.

– Что слышно нового? – повторил Боровский. – Слышно, что в Литве явилось два дурака.

– Кто ж они? – спросил Радзивилл.

– Кто они? – повторил опять Боровский, – один – князь Радзивилл, а другой – шляхтич Боровский.

– Отчего ж это?

– Оттого, что оба поссорились друг с другом, сами не зная за что.

Радзивилл, вместо того, чтобы рассердиться, дружески поцеловал шляхтича, сказав ему от сердца:

– Ну пане-коханку, перестанем же быть дураками, помиримся.

И приязнь между магнатом и шляхтичем скрепилась ещё более.

Для членов банды был особый мундир, он состоял в следующем, весьма красивом одеянии: при жёлтых сафьянных сапогах были надеваемы красные шаровары, крепко стянутые пониже талии, на желудке, шёлковым шнурком с кисточками, жупан или нижнее платье

из голубого атласа, застёгнутый на шею и на груди четырьмя шёлковыми пуговками того же цвета, а среди их запонки из голубой эмали с брильянтовыми буквами X. K. R. как начальными литерами титула, имени и фамилии Радзивилла; на шее, из-за жупана выпускался палец на два белый воротник рубашки. Сверх жупана надевался кунтуш соломенного цвета из плотной шерстяной материи, вроде сукна, называемой сайета, с синим воротником, подбитый шёлковой материею такого же цвета, как был цвет жупана. Литой серебряный пояс перехватывал кунтуш; на этом поясе были рассеяны незабудки и астры; пояса эти выделывались в Слуцке для одних албанчиков; с боку привешивалась большая кривая сабля; на рукоятку её, украшенную иногда дорогими камнями, клали голубую бархатную шапку с околышем из крымской мерлушки. Рукава кунтуша забрасывали назад и зашпиливали на крючок.

В этом мундире нужно было ходить в Несвиже, а если кто-нибудь надевал его, не имея на то права, то с того албанчики снимали его силою. Радзивилл сам носил такой же

мундир, только на запонке был у него не его вензель, а буквы F. A. F., что значило: fiducia amicorum fortis, т. е., силён верностью друзей.

Одетые таким образом албанчики, большею частью, были молодец к молодцу, кто с чёрными, кто с светло-русыми, кто с седыми усами. Особенно живописна была та минута, когда они, стоя плотною толпою в несвижском костёле, вдруг, во время чтения молитвы Богородице, по старопольскому обычаю, все надевали на головы шапки, и обнажив сабли, махали ими, выражая этим, что они готовы идти ратовать во имя Пресвятой Девы.

Среди этих молодцов особенно отличался пан Володкович, и тот, кто видал его портрет, не пожелал бы встретиться с подлинником не только ночью, но и днём – такой ражий из себя и такой с виду приветливый был этот дедина!

В молодости Радзивилл любил тоже пошалаивать, как и вся польская молодёжь того времени, а поэтому и албанская банда была сборище не безгрешное. В Польше, по смерти короля начиналось ещё более неурядицы, чем бывало даже при самом слабом короле;

страсти начинали кипеть; до собрания большего сейма бывали маленькие местные сеймы, следовательно были многочисленные съезды шляхты, а съезды эти, само собою разумеется, не обходились без попок и разгула. В таком состоянии была Литва и Польша по смерти последнего короля из саксонского дома Августа III и пред воцарением Понятовского. Трибуналы, в небытность короля, бездействовали, их временно заменяли так называемые каптуровые суды. И вот однажды возный новогрудского каптурового суда повестил албанчикам, чтобы все они явились в этот суд для объяснений по жалобам, принесённым на них в суд, касательно бесчинств и гвалтов в шляхетских домах. Когда повестка об этом дошла до Володковича, он тотчас дал подписку в том, что явится в суд с своим адвокатом. При этом, чтобы познакомить возного с своим адвокатом, он показал ему его – это была ремённая нагайка. У Володковича их было три: ремённая на судью Хрептовича, другая на Понятовского, о котором уже громко говорили, что он будет королём, тоже была ремённая, но обвитая шёлком, и третья на вилен-

ского епископа князя Мосальского, тоже ре-
мённая, но обвитая золотой нитью. Возный
пожал плечами и уехал, исполнив свою обя-
занность.

Но выполнил также и Володкович свою
подписку: он собрал немедленно шесть са-
мых лихих рубак из албанчиков и отправил-
ся на суд в Новогрудок. Только что издали за-
видел судья своего подсудимого, как убежал
задними дверями в монастырь. Володкович
вошёл в суд и спросил где судья?

– Он вышел, – отвечал регент.

– Нечего сказать, хорош судья, – заметил
Володкович, – зовёт подсудимых, а сам ухо-
дит. Впрочем, – добавил он, – в небытность
судьи место его заступит регент.

Спутники Володковича поняли смысл это-
го замечания, и чрез несколько минут
несчастный регент лежал растянутый на при-
сутственном столе, крепко придерживаемый
шестернёй дюжих парней, а сам Володкович
с широкого своего плеча отсчитывал сотню
нагаек исправляющему должность судьи. От-
считав сполна регенту то, что было назначе-
но его начальнику, Володкович забрал из су-

да все производившиеся в нём дела и уехали из Новогрудка, как ни в чём не бывало.

Но когда воцарился Понятовский, в Новогрудке собрался трибунал; к этому же времени, как будто для свидания с князем Каролом Радзивиллом приехал туда же виленский епископ князь Мосальский. В это же время стоял в Новогрудке королевский полк, которым командовал брат епископа. Положено было расправиться с Володковичем.

Один из майоров полка, переодевшись евреем, отправился в Несвиж к Радзивиллу – уверить князя, что полк Мосальского готов пристать к конфедерации, и просил только, чтобы Радзивилл отпустил с ним Володковича, как самого деятельного её члена, к которому королевские солдаты окажут всего более расположения. Володкович согласился и пред самым рассветом приехал в Новогрудок, прямо на квартиру майора. Едва успел Володкович осмотреться вокруг, как целый полк Мосальского окружил дом, в котором остановился Володкович. Он увидел западню, ему приготовленную, но уже было поздно. Однако он успел выбить дверь и кинулся в сад, думая

пробраться в поле между деревьями; но все дороги были пресечены, куда ни кидался он, всюду встречал ряд штыков; солдаты не стреляли в него, им было приказано взять его живым, и 100 червонцев было обещано тому, кто исполнит это. Несмотря на неравный бой, Володкович, одарённый необыкновенной силой, успел пробиться через несколько рядов; смельчаки подступили было в нему, стараясь схватить его, но он или убивал их, или наносил им тяжёлые раны. Противникам Володковича хотелось взять его живым, чтобы придать этому делу не вид насилия, но законного суда.

Наконец силы Володковича истопились; он спустился в яму, бывшую в саду, и оттуда продолжал обороняться чем ни попало. Любопытные евреи, которым, надо сказать правду, крепко доставалось от Володковича, толпами бежали смотреть на его схватку с целым полком. Уй! ой! вай! и прочее слышались во всём Новогрудке; но никто не догадывался, как овладеть Володковичем без новых потерь в людях. Тогда один из евреев подал следующий совет: бросать в яму, в которой укрылся

Володкович, разный хлам; все жи́ды от малого до великого кинулись за работу: кто тащил ломаный стул, кто стол, кто доску, кто поле-но, кто ведро, кто лохань, кто перину, и всё это летело в яму, где отбивался Володкович. Тесно в ней стало молодцу, и он сдался.

Тогда его взяли, связали, отнесли в суд и там прочитали ему декрет, обвиняя его во множестве преступлений. Менее чем через час Володкович был уже расстрелян, вследствие приговора суда. Спустя шесть часов, Радзивилл, узнавший о бедственном положении своего друга, пришёл в нему на выручку, но уже было поздно, и он в отмщение за смерть Володковича разбил на голову полк князя Мосальского.

Со смертью Володковича значительно ослабела разгульная деятельность албанской банды.

Пан Лада и Фридрих Великий

см. примечание [11]

В 1772 году совершился первый раздел Польши, и вот началось межевание между новыми владельцами и Речью Посполитой. Проще всех распоряжался в этом случае король прусский Фридрих Великий. В ту часть Польши, которая при первом её дележе досталась Пруссии, было послано в каждый уезд по два комиссара; комиссары приезжали к приходскому ксёндзу и заговаривали с ним по-немецки, но как, в большей части случаев, ксёндзы не понимали по-немецки, то между ними и представителями новой власти начинался разговор на ломаном полу-польском и полу-немецком языке. В заключение разговора, ксёндз и собиравшиеся около него прихожане догадывались, о чём идёт дело; они под конец узнавали, что местность, посещённая пруссаками, принадлежит уже не светлейшей республике, но его величеству, королю прусскому, которому она досталась при раз-

деле Речи Посполитой, под именем южной Пруссии.

После такого объяснения, комиссары вынимали из карманов несколько листов печатных бумаг, которые они называли королевскими патентами. Четыре экземпляра таких патентов вручались местному владельцу, четыре ксёндзу для прочтения с амвона в первое воскресенье или в первый праздничный день и для прибития к дверям костёла, и наконец ещё четыре экземпляра слуга, состоявший при комиссаре, относил в ближайшую корчму, для сообщения во всеобщее сведение.

За распоряжавшимися таким образом королевско-пруссскими комиссарами, являлись прусские солдаты; они ставили на указанном комиссарами месте столбы, с прусскими чёрными орлами, и в заключение всего оставлялось у ксёндза столько экземпляров объявлений на немецком языке, сколько считалось в околотке шляхетских домов.

Излишним кажется говорить, что патенты и объявления извещали о присоединении к королевству прусскому тех местностей, в которых ставились солдатами столбы с королев-

скими орлами. Расставляя столбы, немцы упорно торговались с поляками, отстаивая в свою пользу каждый клочок земли. При этом, для избежания недоразумений на будущее время, они старались проводить границу вдоль рек, ручьёв, болот и вообще по таким местам, где сама природа уже провела свою собственную границу. Пруссаки крепко держались такого способа размежевания; но весьма часто случалось, что земли, принадлежавшие одной и той же деревне, были расположены по обоим берегам пограничных рек и ручьёв, и так как оказывалось невозможным делить деревню, то возникало множество столкновений и споров. Ввиду этих обстоятельств, в Берлине, после разных толков и недоразумений, постановили наконец правилом, что положение помещичьей усадьбы должно решать вопрос, к какому государству принадлежит всё поместье.

Идя с патентами и столбами вдоль новой прусско-польской границы, королевские комиссары и сопровождавшие их солдаты приближались к обширному имению, расположенному на одном из пограничных ручьёв. В

этом имении крестьянские хаты живописно были раскинуты под тенью развесистых лип, дубов и клёнов, за ними не в дальнем расстоянии виднелся большой замок причудливой архитектуры. Это имение и этот замок принадлежали пану Яну Ладе, потомку древнего шляхетского рода.

Пану Ладе в ту пору, когда собирались навестить его прусские комиссары, было уже лет за пятьдесят, и несмотря на рану, которую ему пришлось получить в бою, сражаясь в рядах конфедератов, он крепко стоял на ногах, и не прочь был опять отправиться в поход против своих недругов. Пан Лада был широкоплечий мужчина высокого роста, и отличался такой величавой и молодецкой осанкой, которой мог бы позавидовать каждый сенатор и каштелян. Пан Лада происходил из обедневшей шляхты, но ему посчастливилось жениться на внучке воеводы Серадзского; за женой он получил много богатых поместий, а в числе их и то, к которому приближались теперь нежданные и непрошеные гости. Несмотря на богатство и отвагу, пан Лада был человек весьма добрый, обходительный, и по-

тому во всём околотке пользовался любовью и преданностью шляхты.

Не без сильного волнения узнал пан Лада о приближении пруссаков, и волнение его обратилось в ужас, когда ему сообщили правила, которыми руководствуются при размежевании комиссары. Старый замок пана Лады стоял на прусской стороне ручья, и следовательно по силе правил, принятых в Берлине, владелец этого замка должен был перейти в пруссакам. Этой ужасной мысли никак не мог перенести пан Лада.

Известно, что ввиду близкой опасности люди бывают находчивее, нежели в ту пору, когда их ничто не пугает порядком; так было и с паном Ладой. Не ожидай он к себе в скором времени прусских комиссаров, он бы не догадался, каким способом можно отделаться от подданства Пруссии, но теперь, ввиду неминуемой опасности, вдруг озарила его голову светлая мысль.

Пан Лада поспешно собрал всех своих крестьян, дал им заступы и лопаты, и после трудной, но непродолжительной работы, успел отвести русло ручья за свой сад. Быстрый ток,

бросившийся стремглав по покатиному месту в новое узкое ложе, рвал и уносил землю, и к прибытию комиссаров, граница, за которую с таким удовольствием хватались немцы, была уже на новом месте. Шумно бежал теперь ручей не перед садом, но за садом. Находчивый шляхтич вздохнул свободно, и спокойно ожидал королевских комиссаров. Явились они в поместье пана Лады, походили кругом да около, потолковали между собою, и затем, к общему удовольствию, вскоре удалились, поставив граничные столбы далеко за лесом, который принадлежал пану Ладе и тянулся сплошной, широкой полосой по его владениям.

Успешная сделка пана Лады с обманутыми комиссарами была отпразднована в его замке достойным образом. Множество гостей, после трёхдневных пиров, уехали от пана, жалуясь на тяжесть в голове, и не совсем отчётливо припоминая всё что им привелось видеть и слышать в доме радушного хозяина.

Оправившись от лихой выпивки с приятелями и соседями, пан Лада вдруг начал сильно хмуриться. В голове его, вместо приятного

чада от токайского, стали бродить самые тяжёлые думы.

– Я радуюсь, но чему? – спрашивал сам себя пан Лада, – разве тому только, что я спасся от немцев?.. Но неужели же мне не позор принадлежать к такой бессильной, расслабленной республике? Нет! Польша не стоит меня: она не сумела удержать за собою такого гражданина, и чуть было не выдала меня немцам... Разве я заслужил подобное пренебрежение от своей родины?.. Я докажу, что я человек не дюжинный... Я знаю что сделаю...

Проговорив эти слова самым решительным голосом, пан Лада приосанился и гордо посмотрел вокруг себя, но в комнате на этот раз не было никого.

Через несколько дней разнёсся в замке слух, что скоро приедут польские комиссары для постановки пограничных столбов со стороны Речи Посполитой. Снова скликнул пан Лада всех своих крестьян, снова раздал им заступы и лопаты, и спустя несколько времени, ручей бежал по прежнему руслу. Грустно посмотрели польские комиссары на великолепное имение, отошедшее к Пруссии, и постави-

ли столбы далеко за лугом, за орешником и песчаным холмом.

Производя постановку столбов с белыми польскими орлами, комиссары пытались было навестить пана Ладу, но вместо гостеприимного приглашения получили от него следующий ответ:

"Я перестал быть подданным Речи Посполитой и не принимаю граждан её в моём доме".

С грустью прочли этот обидный ответ прежние соотечественники пана Лады; они в раздумье покачали головами, пошали плечами, и принимая подобный ответ, как выражение скорби, перенесли обиду и постановили между собою избегать на будущее время всяких сношений с паном Ладой.

После этого происшествия пан Лада видимо изменился. Из человека, прежде весёлого и общительного, он сделался суров и молчалив. Большую часть дня он сидел безвыходно у себя в комнате, а если проходил иногда через залы, то шёл мерными, медленными шагами, не обращая внимания ни на прислугу,

ни на шляхтичей, живших в его замке.

Все начали перешёптываться между собою, недоумевая о причине такой быстрой перемены. Даже супруга ясновельможного пана не могла объяснить себе некоторых странно-стей своего сожителя, который стал смотреть на неё свысока и говорил с ней только изредка, да и то как-то важно и отрывисто.

После продолжительных совещаний и долгих колебаний, обитатели замка положили, наконец, разрешить мучившее их сомнение. Для того они избрали из своей среды старика-шляхтича, пана Онуфрия, любимца пана Лады, и поручили ему осведомиться обо всём подробно. Пять раз приближался старик к ясновельможному, пять раз раскрывал рот и пять раз, не пробормотав ни слова, отступал почтительно перед величавым взглядом пана Лады.

Все были недовольны депутатом. На него со всех сторон сыпались укоры и насмешки. Приходилось, для избежания неприятностей, действовать с большею решимостью, и старик, помолившись усердно Богу и подкрепив себя порядочной чаркой, явился снова перед

сумрачным паном.

При появлении пана Онуфрия пан Лада быстро вскочил с кресел.

– Что тебе нужно от меня?.. – грозно, почти бешено закричал он.

– Простите великодушно, – проговорил запинаясь оторопелый старик, – простите великодушно, но ваша печаль, ваше одиночество беспокоит всех, кто вам предан и кто любит вас...

– А кто тебе сказал, что я печален... Напротив, мне весело, да и как ещё весело, – как никогда не бывало!.. Ну что ты смотришь на меня таким бараньим, бестолковым взглядом?..

– Я... я сомневаюсь...

– Сомневаешься! а в чём?.. Неужели же ты или кто-нибудь другой может сомневаться, что я теперь государь, что я король, ни от кого независимый?

Изумлённый пан Онуфрий разинул рот и с явным недоверием смотрел на стоявшего перед ними пана Ладу.

– Я хотел сказать... – заговорил оправившийся немного старик, – я хотел сказать, что мы очень радовались, когда увидели, что вы

так искусно спасли нас от немцев.

– Ну так что же? Говори скорей!.. – крикнул нетерпеливо пан Лада.

– А теперь мы с грустью видим, что вы, надумавшись, предполагаете, по своей доброй воле, передаться пруссакам.

– Чёрт их побери! – гаркнул громовым голосом пан Лада, – кто это тебе наврал, старый пустомеля?..

– Но ведь ваша милость не приняли польских комиссаров, и столбы, которые белеются теперь за орешником и песчаным холмом, ясно показывают...

– Что ты просто на просто глуп... Да, ты глуп, пан Онуфрий, – заговорил с заметным хладнокровием пан Лада, не давая вымолвить старику ни полслова. – Я хотел было сделать тебя канцлером, но вижу, что ты в этому неспособен. Убирайся с Богом... Да и все вы оставьте меня в покое и знайте только одно, что всякие перешёптывания и догадки вам строго воспрещаются... Ждите – придёт время, и узнаете то, чего теперь никак не можете понять.

Растерявшийся старик поплёлся назад: в

голове его был невообразимый переполох.

Между тем пан Лада, запершись в своей комнате, всё читал и писал. Никто не смел потревожить его, кроме гайдука Игнация, который получал непосредственно от него какие-то таинственные приказания. Гайдук почти не слезал с лошади. Едва успевал он отвезти одно письмо, как должен был скакать, сломя шею, с новым посланием своего пана. Но от этого верного слуги нельзя было добиться ни слова: он всегда молчал и имел привычку раскрывать рот только тогда, когда нужно было есть или пить.

Прошло ещё несколько недель, среди тревожных ожиданий всех проживавших у пана Лады и среди постоянных его занятий писанием и чтением. Между тем из Торна и Познани, по его приглашению, явились в замок обойщики, драпировщики и разные мастера; в замке закипела деятельная работа, и дней через пять жилище пана Лады явилось в полном блеске. В главной зале замка стены покрылись дорогими обоями, голубого и белого цвета, а на возвышении в несколько ступеней, устланном красным сукном, поставлено

великолепное золочёное кресло с пунцовою бархатною подушкою и гербом пана Лады под королевскою короною. По обеим сторонам этого кресла, на низших уступах возвышения, было поставлено двое других кресел, хотя и весьма искусной работы, но уже не столь великолепных, как среднее. Прямо перед сидищем были две резные скамьи, а остальная часть залы осталась пустою, как это принято для тронных зал.

Потолок залы украсился позолотой и разными лепными фигурами и изображениями, служащими символами для означения верховной власти и разных царственных добродетелей. На стенах залы были развешаны гербы тех благородных фамилий, с которыми была в родстве фамилия пана Лады, а по бокам возвышения, как эмблема могущества и силы, были поставлены военные трофеи и рыцарские доспехи.

Наружность замка тоже подновилась; на фасадах его явилось много фигур и изображений, сходных с теми, которые были помещены на потолке парадной залы; над главным подъездом замка был прибит огромный гер-

бовый щит под королевскою короной, а на самой возвышенной точке кровли, на высоком древке, величественно развевался огромный флаг с гербовыми цветами пана Лады, белым и голубым.

Все работы, как внутри, так и снаружи замка, производились с чрезвычайною поспешностью, под надзором самого пана, но никто, даже проницательный капеллан пана Лады, не мог угадать цель этих необыкновенных приготовлений.

Когда замок был совсем отделан и убран, то накануне праздника рождества Богородицы стали являться к пану Ладе гости, приглашённые им через письма, развезённые Игнацием.

Великолепные новомодные экипажи, старинные рыдваны и колымаги, тележки и повозки постоянно подъезжали к главному крыльцу замка; тут же останавливались и приезжавшие верхом в гости. Пан Лада радушно встречал гостей, и сообразно с важностью каждого из них приказывал отводить помещение или во флигеле или в крестьянской избе. Затем, когда по поверке списков

все приглашённые оказались налицо, гости, по особому зову хозяина, собрались в назначенному времени в праздничных нарядах в главной зале замка, и там с нетерпением ожидали развязки непонятных для них затей.

Появление пана Лады положило конец мучительному ожиданию.

Двери залы широко распахнулись на обе половинки, и в дверях показался хозяин. На голове у пана Лады была дорогая меховая шапка с цаплиным пером, пристёгнутым большою бриллиантовой запонкой; одет он был в кунтуш из бархата пурпурового цвета с золотым поясом, на котором висела кривая сабля, осыпанная драгоценными камнями. Но в глаза гостей не столько бросался этот великолепный наряд хозяина, сколько его повелительный вид и величественная осанка.

Пан Лада вёл под руку свою жену; её роскошный наряд и блеск дорогих камней и яркая белизна жемчуга ещё резче выставляли смущение скромной женщины. Видно было, что она смиренно подчинилась воле своего мужа, но что сердце её как будто предчувствовало что-то недоброе. С выражением гру-

сти и сдержанного ужаса смотрела она на всё, что окружало её теперь, и как будто хотела спросить: что же всё это значит, в чему все эти приготовления? За паном Ладой и его женой шёл их сын, прехорошенький десятилетний мальчик, единственный наследник имени, славы и богатства своих родителей; он был одет в дорогой венгерский костюм.

При появлении пана Лады мгновенно смолкнул говор присутствующих. Он медленным шагом прошёл мимо изумлённой и онемевшей толпы, поднялся на возвышение, и поставив подле себя с одной стороны жену, а с другой сына, приподнял немного свою шапку, в знак поклона, и громко произнёс следующую речь:

"При новом разграничении Польши и Бранденбурга, оба эти государства обошли мои владения, как это ясно показывают пограничные столбы, расставленные и прусскими, и польскими комиссарами. Таким образом, земли мои остались независимыми!.. Вознося благодарственную молитву Господу за явленную его к нам милость, мы, Ян Капистран Идзий I, обещаемся употребить все уси-

лия, чтобы доказать миру, что простой некогда шляхтич Ян Лада, по гербу, впрочем, не хуже Понятовских, сумеет править подвластными ему, хотя не многочисленными, но зато храбрыми, вверенными ему Богом народами!.. Мы не оставим границ наших владений без обороны, казны без денег и законов без исполнения и опоры.

Я учреждаю отныне отдельную державу под наследственным правлением моего дома. Кто захочет споспешествовать новому государству и остаться в его пределах, тот пусть громогласно изъявит своё желание... Будьте уверены, что со временем, когда всё устроится как следует, ни один благонамеренный гражданин и ни один истинно-храбрый воин не будут скучать в тесных, по-видимому, границах моей державы.

Законы и конституция уже готовы, остаётся только присягнуть им. Должности военные, гражданские и придворные уже учреждены и ожидают только достойных кандидатов. Теперь же, братья-шляхта, предлагаем вам объявить ваше мнение: кто со мной, тот пусть остаётся, а тот, кто хочет служить рес-

публике, тот пусть скорее убирается из моих владений".

Речь эта произвела странное впечатление на слушателей. Одни из них во всё время, пока говорил пан Лада, стояли разинув рот и вытаращив глаза, другие почёсывали затылки, третьи потирали лбы, четвертые легонько откашливались, и хотя каждый из гостей ещё заранее ожидал чего-то необыкновенного, но то что они теперь услышали далеко превзошло все ожидания.

По окончании речи, гости зашумели; они принялись с жаром толковать между собою о сделанном им предложении, и так как все чрезвычайно любили пана Ладу, как доброго соседа, и так как смелость его понравилась, то после непродолжительных совещаний общий шум и говор слились в единодушный, со всех сторон раздавшийся крик: "да здравствует пан Лада!"

Увидев, что дело с первого раза идёт удачно, пан Лада, приветливо поклонившись своим новым подданным, величественно поместился на троне, посадив на стоявших по бокам его креслах жену и сына, и когда, по дан-

ному им знаку, всё смолкло, он заговорил снова:

"Итак, пусть по единодушному желанию, изъявленному предстоящими здесь моими соотечественниками, начнётся отныне благополучное наше царствование. Грамоты на должности уже готовы, нужно только вписать в них имена и фамилии назначенных мною лиц".

– Вы, отче, – сказал пан Лада, обращаясь к ксёндзу, – займёте должность канцлера.

Ксёндз осмотрелся, и видя со всех сторон одобрительный взгляд, почтительно поклонился новому государю и отошёл к указанному ему месту.

– Вы, пан Балтазар, будете моим государственным казначеем, – проговорил пан Лада, смотря на шляхтича Годзембу.

Шляхтич покраснел от удовольствия и, низко поклонившись пану Ладе, отошёл в сторону и занял место подле канцлера.

– Вам, Якуб Наленч, вверяется гетманская булава, – произнёс торжественно пан Лада, и тот, к кому относились эти слова, последовал примеру канцлера и казначея, а между тем

новый повелитель продолжал:

"В большом числе сановников мы пока не нуждаемся, и жезл нашего придворного маршала остаётся в руках пана Онуфрия Побоча. Учреждаем, впрочем, новую должность с титулом оберегателя государственных наших границ, и поручаем её племяннику нашему, пану Юзефу. Обязанность его будет заключаться в неусыпном надзоре за целостью и неприкосновенностью границ и во внимательном наблюдении, чтобы в пределы наши не допускались люди вредных правил и еретики, то есть немецкая саранча из-за Одера.

Завтра, после торжественной службы в честь Пресвятой Богородицы, мы расставим наши пограничные столбы, дабы каждый из соседей наших знал наши пределы и почитал бы в нас коронованную особу. Но так как, по этому случаю, двор наш должен будет явиться в полном блеске, то мы повелеваем нашему канцлеру раздать всем надлежащие грамоты, а казначею нашему – выплатить вперёд месячное жалованье по утверждённым нами окладам.

В заключение приглашаем вас, благород-

ные гости, разделить с нами наш королевский пир".

Окончив эту речь, пан Лада встал с своего седалища при громких криках: "Да здравствует король!" Затем гости, предшествуемые державным хозяином, отправились в залы, где были накрыты столы. Много в этот день было съедено, а ещё более выпито, как гостями, так и сновниками нового королевства.

На другой день происходило в Ладове, по особому церемониалу, поставление пограничных столбов. Торжественное шествие сопровождали два отряда: один конный, состоявший из сорока человек шляхтичей, а другой пехотный, состоявший из шестидесяти крестьян, вооружённых алебардами и пиками.

Гимн, пропетый перед статуей Богородицы, стоявшей на каменном столбе при въезде во владения пана Лады, завершил торжество этого дня, с которого и положено было считать воцарение в Ладове короля Яна Капистрана Идзия I.

Вскоре весть о проделках пана Лады раз-

неслась во все стороны. Одни подсмеивались над ним, считая его за самодура, другие же, напротив, хвалили его смелость и решительность. Короче, о нём шли самые разноречивые толки. Впрочем, так как новый владетель был богат, щедр, обходителен и гостеприимен, то замок его не оставался пустым, и во владения его со всех сторон густыми толпами валили новые граждане. Пирь в Ладове не прекращались.

Что же касается соседних государств, то отношения их к новому королевству были неодинаковы. Польше, обуреваемой в то время внутренними смутами и угрожаемой извне соседями, некогда было обращать внимания на отпадение пана Лады от Речи Посполитой, но аккуратные немцы посмотрели на поступок польского пана несколько иначе, и тогда как в Варшаве, при дворе Понятовского, кроме самого короля, подсмеивались над Ладой, как над чудаком, в Берлине, при дворе великого Фридриха, толковали о нём очень серьёзно и методически обсуждали последствия подобных поступков. Прусское правительство придавало действиям па-

на Лады характер государственной измены и не было вовсе намерено выпустить из своих рук превосходное его имение.

Вследствие всех этих политических и финансовых соображений, к пану Ладе послано было объявление, предлагавшее ему уплатить, без малейшего сопротивления, в окружную королевскую кассу всевозможные подати и налоги: подушные, дорожные, речные, лесные, трубные и т. д.

Нешуточное требование Пруссии заставило опомниться пана Ладу; он как будто очнулся от неприятного сна, все его мечтания о независимости разлетелись в прах при виде бумаги, запечатанной печатью с прусским орлом. Но такое состояние духа продолжалось самое короткое время. Пан Лада скоро оправился и в пылу негодования велел, к общему удовольствию своих гостей, затравить гончими пруссака, доставившего ему объявление.

Такое самоволие пана Лады должно было накликать на него со стороны Пруссии грозную расправу. И действительно, через несколько дней после травли чиновника, берегатель границ, пан Юзеф, известил своего

царственного дядю, что во владения его идут двадцать человек пехоты и столько же конницы в зелёных бранденбургских мундирах, с красными отворотами и такими же отложными воротниками, в низеньких треуголках, белых чулках, башмаках и с напудренными косами. Посмеялся пан Лада над нарядом своих недругов, но на деле они были для него опасны. Он положил действовать решительно, и собрав десять человек вооружённой шляхты, принял над ними начальство и смело двинулся против приближавшихся пудренных бранденбуржцев.

Пан Онуфрий, высланный к приближавшимся пруссакам в качестве парламентаря, добился наконец от немцев объяснения, что войско, вторгнувшееся во владения пана Лады, имеет предписание арестовать его за неуважение к королевскому чиновнику и за разные другие самовольные поступки, совершённые им в противность прусских узаконений. С трудом выслушал пан Лада эту весть; он кипел от сильного гнева и вместо ответа бросился прямо с своим небольшим отрядом на неприготовившегося к отпору и озадачен-

ного неприятеля. Немцы не выдержали быстрого натиска и показали свои белые косы. В это же время, на подкрепление пану Ладе подоспело окольными путями несколько вооружённых шляхтичей. Появление их в тылу немецкого отряда было как нельзя более кстати. Пруссаки, считая себя окружёнными со всех сторон, сдались все военнопленными, и только один капрал, благодаря быстроте своего коня, мог принести на родину печальную весть о поражении и плене своих ратных товарищей.

После этой блистательной победы начались в замке пана Лады шумные празднества, но торжество победителей было весьма непродолжительно, потому что, спустя один день, пан Юзеф снова известил своего дядю, что на него наступают пруссаки, и что теперь их уже гораздо более, нежели в первый раз.

Призадумался сначала пан Лада при получении этой вести, но потом вскоре оправился и собрал на военный совет всю находившуюся в его замке шляхту. В то же время он разослал гонцов во все стороны Речи Посполитой, с извещением о том, что с ним случилось, и с

приглашением панов-братьев подать помощь. Между тем крестьяне принялись работать над возведением укреплений; они копали рвы, устраивали западни и волчьи ямы, перекапывали дорогу, огораживали иные места засеками и тыном, и после трёхдневной работы пан Лада укрепился довольно прочно.

Все эти приготовления были не напрасны. После пятидневного томительного ожидания, на большой дороге, пролежавшей в владениях пана Лады, показался со стороны Пруссии огромный столб пыли. Передовые стражники немедленно известили об этом пана Ладу, который дал приказание – взять оружие и занять каждому своё место. Приказания эти были исполнены в такой тишине и в таком порядке, что когда прусский отряд, состоявший на этот раз уже из двухсот человек кавалерии и пехоты, вышел из лесу на поляну, то всё было кругом так тихо и спокойно, как будто жители, испуганные приближением храбрых прусских войск, разбежались во все стороны.

С полным сознанием своего превосходства двигался вперёд неприятель и без особых предосторожностей вступил на ту местность,

где были устроены западни, волчьи ямы и завалы. Но каково же было его изумление, когда вдруг со всех сторон раздался страшный гик, загремели ружейные выстрелы, разверзлись закрытые дотоле ямы и рвы, и отряд увидел себя лишённым всякой возможности к отступлению! И опять только несколько человек, составлявших арьергард прусского отряда, спаслись бегством, чтобы принести в Пруссию весть о новом поражении...

Между тем в деревне завязалась отчаянная борьба, которая, впрочем, длилась не долго. Пруссаки, стеснённые в узких проходах, не имели возможности развернуть правильно свои силы против хорошо прикрытого неприятеля. Бой кончился тем, что пруссаки сдались в плен.

Пленных заперли в амбар, и после шумных совещаний о том, что с ними делать, постановили: перевязать их по четыре человека и переслать, в виде подарка, Речи Посполитой. На этом в особенности настаивал пан Лада, желая подражать таким образом славному победителю турок – Яну Собескому, приславшему в подарок Польше турецких пленников.

К счастью пана Лады пруссаки в эту пору не имели под рукою достаточного числа войск: приходилось стягивать отряды с разных сторон, и этим обстоятельством, как нельзя лучше, воспользовался ладовский повелитель. Пруссаки торопились, но не медлил и их противник.

Известив немедленно всю окрестную шляхту о случившемся, пан Лада встретил в своих собратях полное сочувствие. Все шляхтичи, сидевшие по случаю мира у себя дома, и все крестьяне, свободные в эту пору от сельских занятий, повалили на защиту нового государства, а окрестные паны прислали в Ладовский замок необходимый провиант и фураж.

Вскоре пан Лада увидел в своём распоряжении значительные силы. Большая часть его защитников были люди самые решительные, не раз уже окуренные порохом в битвах. Предводитель их воспользовался всем этим.

Получив самые точные сведения о числе прусского отряда, назначенного для усмирения непокорных, пан Лада собрал военный совет, и на этом совете единогласно было по-

ложено – дать отпор прусскому войску. Здесь же было соображено, что ожидать в деревне неприятеля, имеющего с собою артиллерию, не следует; и вообще встретиться с ним на территории Ладовского королевства признано было неудобным, потому что в этом случае можно было подвергнуть разорению свои земли. Но к этим стратегическим соображениям присоединились ещё особые политические расчёты: до сих пор все действия пана Лады могли быть оправданы – он только оборонялся от наступавших на него врагов; нападение же на прусские земли было бы равносильно объявлению войны, и такой образ действий нельзя было оправдать. Подобное нашествие отнесено было бы к политике Речи Посполитой, и пан Лада мог бы лишиться покровительства Польши, на которое он, хотя весьма слабо, но всё же рассчитывал в крайнем случае.

Сообразив всё это, военный совет постановил принять бой с пруссаками во владениях, независимых от польского королевства, а чтоб ввести своих противников в заблуждение, пан Лада отослал свою жену и всех жен-

цин, проживавших в его государстве, в свои польские поместья и, рассыпав свои войска по окрестным лесам, распустил слух, будто бы вся окольная шляхта разбежалась, испугавшись немецкого нашествия.

Молва об этом была, конечно, доведена до отряда прусских войск, кочевавшего вблизи ладовских владений и готовившегося с рассветом перейти их границу. Между тем, ловкий и смелый лазутчик пана Лады, переодевшись угольщиком, успел проникнуть в прусский лагерь, осведомился хорошенько о неприятельских силах и возвратившись ночью домой представил обо всём виденном и слышанном самый подробный отчёт. Полученные сведения придали обороняющимся ещё более смелости; правда, прусский отряд состоял теперь из двух тысяч пехоты и конницы, и имел при себе четыре пушки, но зато солдаты, по рассказам лазутчика, были люди старые, неповоротливые, и казались весьма не бойкими.

Всю ночь провёл пан Лада в объезде своих отрядов, расставленных по сторонам дороги, проходившей почти целую милю через гу-

стой лес. С наступлением утра, лёгкий свист, передаваясь от поста к посту, дал знать, что неприятель тронулся с своей ночной стоянки. Утро было туманное и это обстоятельство весьма много способствовало удачной засаде, устроенной против пруссаков.

С громким барабанным боем и при звуках труб двигался вперёд прусский отряд, и вскоре остановился возле леса. Высланный вперёд конный разъезд прошёл беспрепятственно тесную дорогу. Дойдя до деревни, он сделал несколько выстрелов и возвратившись к отряду объявил, что дорога свободна, а деревня не имеет никакой обороны. Получив это известие, пруссаки смело, в боевом порядке, тронулись вперёд; за передовым отрядом конницы, с торжественной медленностью двинулась артиллерия, прикрываемая со всех сторон пехотою.

Едва только пруссаки вышли на середину лесной дороги, как пан Лада выстрелом из небольшой мортиры подал сигнал к нападению. Неприятель с ужасом увидел, что лес, до того времени безмолвный, как будто ожил: ветви затрещали, мох зашевелился, раскры-

лись кусты терновника, отовсюду засвистали пули и раздались ободрительные крики; трескотня ружейных выстрелов озадачила пруссаков.

Генерал, командовавший прусскими войсками, принадлежал к числу людей слишком самоуверенных; он никак не воображал, чтобы предводительствуемому им отряду могло сопротивляться войско пана Лады. Увидя себя окружённым со всех сторон в лесной тесноте, он перестал думать о лёгкой победе, и дал приказание отступить, но отступление уже было отрезано, а между тем, к ужасу пруссаков, зашатались и начали валиться на них громадные сосны, сверкнул огонь, показалось пламя и смолистый дым понёсся густыми клубами в глаза прусским солдатам. После самого непродолжительного неровного боя, пруссаки бросились в беспорядке бежать; а небольшое число их, успевшее кое-как выбиться из лесу, начало строиться на поляне. Едва пан Лада завидел это, как по приказанию его отряд конной шляхты, выскочив из засады, смял противников и тем окончательно довершил победу.

Теперь пан Лада чувствовал себя вправе отплатить пруссакам за нападение нападением, и потому стал преследовать бегущих на их собственной земле. Победитель напал на ближние местечки, забрал прусские кассы, и после трёхдневного похода возвратился в свои владения, где ему была приготовлена торжественная встреча.

Гордо поднял теперь голову пан Лада, а между тем шум пиров не умолкал в Ладове, и каждый день прибывали туда новые охотники. Обнадёженный этой поддержкой, Лада хотел воспользоваться зимним временем и предпринять наступательное движение на Пруссию. Пан Лада горячился и надеялся, а рассудительный канцлер советовал своему государю пустить ручей по новому руслу и признать над собою власть Речи Посполитой. Сердце отважного короля шляхтича испытывало при этих советах жесточайшее искушение: с одной стороны, привязанность к родине заставляла его соглашаться с советом своего канцлера, а с другой стороны, честолюбие шептало ему о королевском сане.

Надобно сказать, что прусский генерал, командовавший войском против пана Лады, был, как почти все люди самонадеянные, человек способностей весьма посредственных, хотя и слыл человеком учёным. Претерпев поражение и не находя средств поправить неудачу, он, чтобы избежать королевского гнева, поскакал в Берлин, намереваясь предупредить вести о своём поражении и представив войско пана Лады в преувеличенном виде, выпросить себе более сильный отряд для наказания мятежников.

На пятый день генерал был уже в Берлине. В это время Фридрих Великий, исполнив часть своих политических планов, отдыхал на лаврах в государстве, прославленном его гением и множеством побед. В то время, когда, окружённый учёными и философами, которые со всех сторон стремились к его двору, король беседовал о какой-то головоломной философской задаче, дежурный камергер доложил его величеству о прибытии генерала из области, взятой у Польши. Король велел немедленно пригласить его в себе. Явившись к государю, военачальник выразил желание

поговорить с его величеством наедине, но Фридрих, не подозревая ничего особенного, приказал генералу начать доклад о его подвигах в присутствии всех.

Заминаясь, робким голосом, начал генерал реляцию о своих военных действиях. Король, сдвинув брови, внимательно слушал его, не прерывая ни на одном слове.

Генерал кончил. Наступило глубокое молчание. Как ни прикрашивал генерал своё донесение, но король ясно видел, в чём заключалось дело. Он насупился более прежнего и грозно взглянул на лживого рассказчика. Генерал побледнел, и все ожидали, что король, в справедливом гневе, примерно накажет генерала и за опрометчивость, и за ложь. Но общие ожидания не оправдались. Лицо короля вдруг приняло приветливое выражение; он медленно поднялся с кресел, запустил пальцы в карман своего коричневого камзола, где находился нюхательный табак, втянул в нос хорошую дозу и, остановившись перед генералом, полунасмешливо и полуласково спросил его:

– Чего же вы теперь от меня желаете?

Ободрённый таким неожиданным исходом дела, генерал видимо расхрабрился.

– Ваше величество! – проговорил он энергичным голосом. – Я желаю получить от вас войско; я пойду уничтожить скопище разбойников и кровью смою обиду, нанесённую победоносным знамёнам вашего величества.

– Всё это весьма похвально, – хладнокровно заметил Фридрих, – но ведь вы уже имели войско, – где же оно?.. Если же дать вам другое, то без всякого сомнения и его постигнет та же самая участь... Нет, любезный мой генерал, я вам войска не дам, но вы отправитесь одни к этому непокорному шляхтичу... Понимаете?

– Понимаю, – проговорил невнятно генерал, под влиянием нашедшего на него столбняка.

– Вы овладеете Ладовым и его жителями одни, без войска; я не дам вам для этого ни одного солдата. Понимаете?

Генерал растерялся в конец, и почти что прошептал:

– Нет, этого я не понимаю...

– Потому вы этого не понимаете, что у вас

не развиты все способности, необходимые, чтоб быть толковым и догадливым человеком... Явитесь завтра утром ко мне, я вам сообщу инструкцию, с которой вы отправитесь немедленно, а теперь отдайте коменданту вашу шпагу, а сами потрудитесь переночевать на гауптвахте.

Генерал почтительно поклонился королю и вышел из залы, а король возвратился к прерванной беседе. Поздно вечером оставил Фридрих своё любимое общество и заперся в кабинете. Над чем трудился в это время король, неизвестно; известно только, что когда утром явился к нему арестованный генерал, то Фридрих дал ему словесную инструкцию и вручил письмо с адресом: Яну Капистрану, королю в Ладове, троекратному победителю моих войск.

Озадаченный генерал прямо из дворца поскакал в Ладов.

Воинственность пана Лады нисколько не уменьшилась, и зимний поход в Пруссию был его заветною мечтою в то время, когда приискал к нему в замок, под парламентёрским

флагом, передовой гонец с известием, что следом за ним едет из Берлина посланник короля прусского к Яну Капистрану, верховному повелителю Ладовского государства.

Остолбенел от удовольствия шляхтич, узнав, что гордый победитель Австрии так легко признал его державные права, и что король прусский сносится с ним через своего посланника.

Гонцу было объявлено, что королевский посол будет принят в Ладове с честью, подобающею его высокому званию.

Едва только уселся пан Лада на своём троне, как в залу паном Онуфрием был введён прусский посланник, в полном мундире, в ленте, в звёздах и орденах. Посланник, как мы сказали, принадлежал к числу учёных своего времени, и потому знал весьма недурно латинский язык, на котором он и начал объясняться с ладовским державцем.

"Во мне, высокий государь, – начал генерал, – вы можете узнать начальника того войска, которое потерпело поражение в ваших владениях. Теперь же мой августейший повелитель прислал меня к вам, чтобы выразить

вам извинение по поводу несправедливого вторжения в вашу державу, вторжения, происшедшего от дурно понятых мною предписания его величества. Вы одержали три победы, доставившие вам громкую славу и дружбу короля, который тоже, как вам известно, пользуется во всей Европе военной славой, несмотря на некоторые испытанные им неудачи.

Король чтит вашу храбрость, ваше мужество, ваши военные дарования и, по свойственному его великодушию, ищет не мести, но дружбы и мира с вами, как с достойным своим соседом. В подтверждение же моих слов, король соизволил прислать вам со мною собственноручное письмо, а мне дать лестное поручение приобрести для него вашу дружбу".

Все из присутствовавших, которые могли понять эту речь, были поражены изумлением, и только один рассудительный канцлер недоверчиво покачивал головою. Между тем, пан Лада прочитал сам и при помощи канцлера стал переводить во всеуслышание письмо короля Фридриха, написанное превосход-

ною латынью. Письмо это приблизительно было следующего содержания:

"Любезный и дорогой наш брат и государь! Посылаем вам наше королевское приветствие и просим вас быть нашим другом. Мы питаем особое уважение к вашему мужеству. Таких героев, как вы, должны покорят не мечом, но любовью, и потому мы, имея непреодолимое желание познакомиться с вами лично, приглашаем вас пожаловать ко двору нашему в Потсдам, где мы найдём средства устроить наши дальнейшие отношения. На случай же, если вы, судя по началу наших отношений, опасаетесь дерзости со стороны наших подданных, мы посылаем вам охранительную грамоту, которая доставит вам свободный проезд и должные почести во время вашего путешествия в Берлин и обратно, и вместе с тем королевским нашим словом удостоверяем вас, что в небытность вашу не будет предпринимаяемо никаких мер против независимости ваших владений от нашей короны".

Королевское письмо произвело всеобщий восторг между приверженцами пана Лады, и

только немногие из них, люди уже чересчур запальчивые, советовали пану Ладе отказаться от всяких сношений с королём; другие же напротив изъявляли желание отправиться в Берлин в свите пана Лады.

Самолюбие слишком сильно заговорило в сердце шляхтича, и он захотел, если не окончательно сделаться независимым владельцем, то быть по крайней мере другом великого государя, на которого вся Европа смотрела тогда с каким-то благоговением. Пан Лада решился принять предложение короля и собрав всю свиту из самых важных и молодцеватых шляхтичей отправился в столицу Пруссии.

Вести об этом донеслись в скором времени в Варшаву до короля Станислава Августа, который в это время приготавлился к поездке в Канев для свидания с императрицею Екатериною. Услышав любопытные подробности о пане Ладе, а также и о его победах, Станислав Август призадумался, и в заседании тайного совета предлагал ободрить смелого шляхтича, и даже помочь ему денежными средствами и военными снарядами. Говорили даже,

будто бы Понятовский собственноручно писал к пану Ладе, изъявляя желание увидеть его и приобрести его дружбу. Съездить в Ладов с королевскими предложениями было поручено молодым ветреникам того времени, потерявшим при весёлом дворе Станислава Августа всякую энергию. Королевские посланцы обыкновенно ездили медленно, в тяжёлых, спокойных каретах; они беспрестанно останавливались для ночлегов, и в каждом городе или местечке наряжались как куклы, пудрились и ухаживали за красавицами. Вследствие этого, королевский посланец приехал в Ладов, спустя уже неделю после отъезда пана.

Ладовский замок был пуст, и только, как свидетели воинских подвигов пана Лады, оставались следы укреплений. Запоздавший панич увидел свою оплошность и погнался было за паном Ладой в Пруссию, желая передать ему королевское послание, но и тут ему не посчастливилось: пруссаки заподозрили его в шпионстве, схватили и засадили в крепость Шпандау, где он отсидел довольно долго в ожидании свободы.

Съезд в Каневе, имевший, как известно, целью ослабить могущество Фридриха Великого, устраивался с большою таинственностью. Но блестящая свита придворных и рой королевских любовниц разглашали все дипломатические тайны, так что король прусский знал обо всём и успевал принимать меры, а потому едва только он слышал, что в Варшаве думают сделать из смелого шляхтича Лады орудие против его планов, как предупредил Понятовского и сумел склонить смельчака на свою сторону.

Между тем пан Лада совершал торжественный путь; мелкие почести усыпляли его, и любопытные толпы народа собирались на станциях, чтобы взглянуть на пана Ладу, как на какое-то чудовище. Генерал, сопровождавший пана, торопил его с особенным усердием, уверяя, что король нетерпеливо ждёт своего знаменитого гостя, а между тем, тотчас по проезде пана Лады, опускались шлагбаумы и пресекались все сообщения с Польшей. После восьмидневного путешествия, владетель Ладова увидел резиденцию своего нового друга. У берлинской заставы

ждала его королевская карета, а навстречу ему был послан королевский адъютант с разными любезностями. Гостю Фридриха Великого было отведено помещение в роскошных покоях королевского дворца; здесь он отдохнул после дороги и на другой день отправился в Потсдам, где в ту пору находился Фридрих. Прибыв в Потсдам, он окончательно смутился и начал уже раскаиваться в своём приезде, предчувствуя, что ему трудно будет устоять против искушений.

Предчувствия пана Лады сбылись на самом деле. Фридрих отлично понял всю суетность шляхтича и сообразил, что с таким простаком легко совладать при пышном и хитром дворе.

Король встретил своего гостя разными любезностями, и ласки Фридриха окончательно покорили сердце пана Лады, который тотчас же объявил, что считает за счастье знакомство с полководцем, занимающим первое место после Юлия Цезаря.

Веселясь с немцами на разные способы, добродушный шляхтич легко сблизился с ними, и спустя несколько недель после своего

приезда принял от короля титул графа и орден Чёрного Орла. Когда же ему предложили на выбор государство, к которому он желает присоединиться, то пан Лада объявил решительно, что не хочет отделяться от своей родины. Но король уже достиг своей цели: он приобрёл себе сочувствие в человеке, имевшем тогда сильное влияние на своих соотечественников, и тем самым искусно разрушил одно из предположений каневского съезда.

Возвратившись в своё государство, шляхтич немедленно перенёс межевые столбы к новому руслу ручья, и таким образом, присоединившись опять к Польше, отказался навсегда от своей политической независимости. Но тяжело было пану Ладе, после пиршеств и побед, сжиться опять с деревенским затишьем. Он никогда никому не показывал ни графского диплома, ни полученного ордена, а шляхта, видя смирение пана Лады перед пруссаками, терялась в догадках и делала различные, иногда даже оскорбительные для него предположения.

Всё это мучило пана Ладу, и когда кто-нибудь напоминал ему о его государстве, он ви-

димо терял весёлое расположение духа.

Прошло ещё несколько лет среди этой томительной жизни, началась борьба Речи Посполитой с её соседями, и вскоре пан Лада сложил свою седую голову.

Неправедное наследство

Польский король Михаил Вишневецкий в молодости своей, когда он был ещё частным человеком, испытывал нужду, близкую в нищете. Один из витебских помещиков Цехановецкий полюбил молодого князя, и не предвидя его будущей судьбы, помогал ему, как бы он помогал самому близкому своему родственнику. При многих своих слабостях князь Вишневецкий отличался однако благодарностью и поэтому, когда поляки избрали его в короли, то первым его делом было призвать к себе молодого Цехановецкого, сына своего благодетеля, и щедро наградить, как его самого, так и его отца. Король почувствовал в сыну Цехановецкого особое расположение и удержал его при себе в Варшаве.

Прошло несколько времени, и Цехановецкий получил известие о смерти своего отца; огромное родовое наследство, увеличенное ещё более щедростью короля, ожидало его на родине, и Цехановецкий, не теряя времени, поспешил в Витебск. Едва разнеслась там молва о его приезде, как в то же самое время

страшная новость дошла до него. Его потребовали в гродской суд, для очных ставок с его матерью, но не Цехановецкою, а с простою женщиною, которая прежде была его кормилицею.

Женщина эта, за несколько дней до приезда Цехановецкого, явилась в гродской суд и объявила, что у неё есть на душе страшный грех, что молодой Цехановецкий – вовсе не Цехановецкий, но её сын, простой деревенский холоп, что настоящий панич, которого она кормила грудью, умер внезапно на её руках, и что она, думая осчастливить своего сына, тайно закопала в лесу умершего младенца и подменила его своим, что долгое время совесть мучила её, что наконец, для её спокойствия и для избежания божией кары по смерти, один ксёндз велел ей покаяться во всё чистосердечно. Женщина эта привела в доказательство справедливости своих слов такие улики, которые не могли оставить никакого сомнения, что настоящий Цехановецкий умер, и что приехавший под именем его из Варшавы был не кто другой, как самозванец.

Не столько потеря имущества, сколько по-

зор, а главное невозможность жениться на той, которую молодой Цехановецкий полюбил всей душой, и которая была уже его невестой, заставили Цехановецкого решиться на ужасное преступление. Между тем родственники Цехановецких, воспользовавшись доносом, требовали для себя, как для ближайших наследников покойного Цехановецкого, всё его имение. Цехановецкий, с помощью другого ксёндза, уговорил свою бывшую мамку, а вместе с тем и настоящую мать, сознаться, что весь донос, ею сделанный, нарочно выдуман ею с целью получить от Цехановецкого значительную сумму. Ксёндз представил матери Цехановецкого все последствия её доноса; он объяснил ей, что и она сама не избегнет наказания за прежнюю вину, и что вместе с тем она разрушит совершенно всё счастье своего сына, для которого в настоящее время переход к ничтожеству будет ужасен, тогда как если бы с самого ребячества она воспитывала его, как крестьянина, то он не мог бы роптать на свою долю и проклинать свою мать.

В свою очередь Цехановецкий убедил

мать, что он навсегда обеспечит её, уверил её, что он немедленно поскачет в Варшаву и выпросит у короля так называемый железный лист, то есть повеление, которое могло не только останавливать, но и уничтожать вообще исполнение смертной казни, а что между тем для истребления всякого подозрения он сделает так, что гродской суд приговорит её к смертной казни, как клеветницу; но что он спасёт её, предъявив железный лист.

Бедная женщина из любви к сыну согласилась и объявила, что всё показанное ею — ложь. Цехановецкий уехал в Варшаву, повторив матери, что он едет за железным листом; дело приняло другой оборот, и суд приговорил клеветницу к смертной казни. Наступил ужасный день; Цехановецкий не приезжал, мать его была выведена на площадь и там обезглавлена; до последней минуты не теряла она бодрости, думая, что явится сын её с королевским помилованием.

Между тем не отказ короля в просьбе своего любимца и не какие-нибудь особенные обстоятельства не позволили Цехановецкому приехать вовремя в Витебск для спасения сво-

ей матери от смертной казни. Не спас он её вследствие холодного расчёта, что она, по слабости своего характера, может снова навлечь на него беду, от которой уже не так легко будет ему избавиться. Он ни слова не сказал королю о помиловании виновной, а напротив требовал её казни, называя её орудием своих корыстных родственников, желавших воспользоваться его богатством. По стечению обстоятельств, в тот самый день, когда обезглавленный труп матери Цехановецкого лежал на городской площади, в Варшаве была великолепная свадьба Цехановецкого, удостоенная присутствием короля, который за несколько дней пред этим дал своему любимцу звание старосты оршанского.

Дни проходили за днями, счастье благоприятствовало Цехановецкому во всём; милости, отличия, награды сыпались на него беспрестанно, он был отцом шестерых детей, которым предстояла самая блестящая будущность. Все завидовали Цехановецкому, ничто, по-видимому, не смущало его спокойствия; но что происходило в душе грешника – это известно одному Богу.

Выросли дети Цехановецкого, поседел он, умерла и жена его: но он был бодр и весел. Вдруг однажды он собрал к себе в комнату всех детей и запер за ними дверь.

– Послушайте, дети, – сказал он, – вы ни в чём не виноваты, но знайте, что вы носите имя, которое не принадлежит вам, и будете после моей смерти владеть богатствами, на которые ни я, ни вы не имеем никакого права, и которые приобретены страшным грехом.

Дети с изумлением взглянули на отца, а потом друг на друга.

– Вы дивитесь, друзья мои, что я говорю вам такие речи, но выслушайте мою исповедь.

Тогда староста оршанский покаялся пред своими детьми в том, что он для удержания за собою чужого имени и чужих богатств пролил под мечем палача кровь своей матери.

– Я иду в монастырь, – добавил Цехановецкий, – и если вы хотите искупить хотя немного ужасный грех вашего отца, то сделайте то же. Всё моё имение я отдаю тем, кому оно должно принадлежать по праву.

Дети согласились обречь себя вечным молитвам за преступление отца и удалились вместе с ним в монастырь св. Эразма, и там, после смерти старика Цехановецкого, дожившего в постоянных терзаниях совести до самых преклонных лет, и после смерти шестерых его сыновей, пресеклась ложная фамилия Цехановецких, а настоящие обладатели этого имени, прежде обедневшие, получили всё то, что у них было отнято.

Ян Декерт

Утвердительно можно сказать, что ни одно племя не представляло столько разнообразных видов государственного управления, сколько представило их племя славянское: на севере, в Новгороде, оно образовало могущественную торговую республику; на юге, в Малороссии, – военную; среди них сперва явилась держава, делившаяся между членами одного рода, потом из соединения этих раздробленных государственных участков возникло московское единодержавие; далее на юго-западе, в Черногории, одна из славянских отраслей составила другую военную общину, в которой с властью народного вождя соединился сан святителя. Несомненно однако, что самое своеобразное государственное устройство представляла Польша.

Из помещаемых здесь очерков и рассказов читатель может составить себе общее понятие о том положении, в котором находилась Польша пред концом своего самобытного существования, и поэтому в настоящем рассказе поясним только те события, которые при-

готовили 3-е мая 1791 года, день, когда могла начаться для Польши новая политическая жизнь.

Около второй половины XVIII столетия, беспорядки в правлении Речи Посполитой, развращённость и подкупность большей части лиц высшего класса, буйство мелкой шляхты и угнетение низших сословий достигли крайних пределов, и очевидно было, что для прекращения всей внутренней неурядицы и для избавления Польши от влияния на неё её соседей, пользовавшихся таким ходом дел, необходимо было сделать коренные государственные преобразования. Потребность их стали сознавать и сами поляки, но стремления к новизне и происходящие от них замешательства породили в Польше недоверие одного сословия к другому, взаимную боязнь и зависть и, наконец, открытую вражду между разными партиями, доходившую нередко до ожесточения и заставлявшую, из личных видов, забывать пользу и честь родного края.

Август II, а потом и Понятовский замыслили сделать польский престол наследствен-

ным; вообще поляки сознавали пользу этого преобразования, которое могло отвратить от Польши прямое участие соседей в выборе короля и подчинение его через это чужеземному влиянию; но вместе с тем польская шляхта видела в наследственности престола уничтожение всего того, что было ей так дорого и что в течение нескольких веков так тесно слилось с государственным бытом Польши. Среднее сословие, для которого желательно было установить наследственность престола, как средство, уничтожавшее отяготительное влияние шляхты на граждан Речи Посполитой, не имело никакого влияния на решение государственных дел; о крестьянстве, или хлопстве, и говорить нечего; казалось, что в Польше все позабыли даже о его существовании. Таким образом весь ход государственных дел сосредоточился к описываемому времени на сеймах, где всего более проявлялся дух магнатских партий, где завязывалась борьба их между собой, и возникали решительные противодействия некоторым королевским намерениям.

Август II, не присмотревшись ещё хоро-

шенько к современному быту Польши, надеялся сделать престол её наследственным в саксонском доме с помощью своего немецкого войска и при содействии некоторых польских магнатов. Поэтому, чтобы предотвратить влияние шляхты, крепко отстаивавшей своё избирательное право, он старался отучить поляков от сеймов и не собирал их почти в продолжение тридцати лет своего царствования; впоследствии, увидев свою ошибку и убедившись в невозможности достигнуть своих намерений без содействия шляхты, он решился действовать иначе. Его приверженцы разъезжали по Литве и Польше и старались преклонить даже самых убогих дворян к поданию голосов в пользу наследственности польского престола в саксонском доме; но шляхта поняла в чём дело: она предвидела, что если соберётся в Варшаве сейм, то королю удастся осуществить свои замыслы, и потому она теперь в свою очередь старалась не допускать собрания общего сейма. Средство к этому было лёгкое: стоило только, чтобы не составлялись местные сеймики, и шляхта действовала с этою целью неутомимо.

Наконец в январе 1733 года королю удалось собрать давно желанный сейм; на нём он хотел решить дело о наследии польского и литовского престолов в саксонском доме, но смерть не допустила его исполнить давно затеянные замыслы; Август II умер в Варшаве 1-го февраля 1733 года, и сейм разошёлся.

В царствование Августа III внутренний раздор в Польше усилился ещё более; наконец дошло до того, что в последние годы его правления послы на сеймах садились уже не на тех местах, которые им, как представителям известного края, были назначены по закону и по обычаю, но рассаживались по партиям, приходили на заседания не одни, но в сопровождении вооружённых приверженцев и большею частью надевали панцири под платья. Когда оканчивалось заседание, то послы опасались расходиться поодиночке и выходили вдруг. Соединившись партиями, они отправлялись домой уже не в каретах, как приезжали, но верхом, боясь, что после бурных заседаний может на улицах Варшавы завязаться бой между приверженцами разных партий, и рассчитывали на то, что среди об-

щего смятения в карете не так легко будет пробраться сквозь разъярённую толпу, как ускакать от неё верхом.

Особенно, по бурливости своей, был замечателен сейм 1761 года; на нём некоторые послы, чтоб обмануть своих противников, выставляли свои имена на списках всех партий, но когда наступала решительная минута, тогда они неожиданно поддерживали только ту партию, к которой они действительно принадлежали. Такой способ действия не только обессиливал противную сторону, но и отнимал у неё бодрость и поселял в ней недоверие к прочим приверженцам; короче, уничтожал все её планы, все её расчёты.

На сейме 1761 года распри послов дошли до того, что двух князей Радзивиллов с их гусаром выбросили в окно из комнаты, в которой происходили заседания. Наконец, по смерти Августа III, в 1763 году, в Польше явился небывалый случай: противники князей Чарторыйских, имевших в то время огромное влияние на ход дел в Речи Посполитой, чтоб уничтожить это влияние, действовали так, что сейм, собранный для избрания короля,

должен был прекратиться, и Польша оставалась без короля, в ужасном беспорядке, около одиннадцати месяцев.

В 1764 году был избран в короли Станислав Август Понятовский. Поляки весьма основательно укоряют Понятовского, что он предпочитал личные свои выгоды и свой личный сан, а также утверждение на польском престоле рода Понятовских, не только славе, но даже и самобытности своего родного края. С последним намерением короля, конечно, никак не могли освоиться ни магнаты, которые сами мечтали о короне, ни шляхта, которая могла располагать ею по своему произволу. С другой стороны, спокойствие Польши и устранение на дела её чужеземного влияния требовали уничтожения партий, а этого можно было достигнуть только двумя способами: установлением наследственности престола и укрощением своеволия шляхты. Первое трудно было исполнить, для исполнения же второго королю вскоре представился удобный случай.

В 1789 году начался так называемый великий сейм; два вопроса занимали его главным

образом: один – как добыть денег на содержание войска, которое предполагалось увеличить до 100.000, другой – какой учредить в Польше образ правления, который был бы прочен, утвердил бы общее спокойствие и пришёлся всем по сердцу. В это время явился в Польше новый деятель: это был Ян Декерт. Казалось, судьба не предназначала ему никакого блеска. Смолоду Ян Декерт занимался только двумя предметами – торговлею и охотою; последняя страсть сблизила его с саксонскими офицерами; они, как приятели Декерта по охоте, сделались постоянными его покупателями и доставили ему по торговле большие успехи. Около того же времени богатый варшавский купец Марциновский имел красивую дочь Юлию. Целая Варшава не могла надивиться её прелестям; блестящая польская молодёжь ухаживала за нею, стараясь получить её руку; но как обыкновенно бывает, что богатые девушки, окружённые толпою поклонников, делаются слишком разборчивыми, так точно и Юлия, не замечая того, что время летит быстро, и отказывая по очереди всем женихам в ожидании ещё лучшего, за-

сиделась в девках; между тем явилась новая красавица, все отхлынули от Юлии, и она принуждена была выйти замуж за Декерта. Её значительное состояние, при бережливости Декерта и при капитале, им самим нажитом, составили замечательное состояние. Декерт стал употреблять его на пользу общую, и Речь Посполитая, признательная ему за его добрые дела, дозволила ему купить населённое имение. Декерт легко мог получить дворянское достоинство, но он сам не хотел этого: он желал лучше быть первым мещанином, чем последним шляхтичем; он хотел облагородить своё неизвестное ещё имя чем-нибудь более высоким, чем дворянством, короче – он решился доказать, что сословие городских обывателей было, должно и может быть равным шляхте.

Достигнув почётного звания президента Варшавы, которое соответствует званию городского головы, и постановив употребить свои богатства на пользу того сословия, в котором он принадлежал сам, Декерт стал приводить в исполнение свои похвальные намерения. Он начал с того, что собрал вокруг себя

людей, хорошо изучивших историю Польши, и с помощью их отыскал те акты об избрании польских королей, которые были подписаны мещанами вместе с шляхтою, также такие, из которых видно было, что паны вступали в число городских обывателей, и что они, без утраты шляхетского достоинства, подчинялись городскому праву; что сенаторы занимали городские должности, и что мещане имели право приобретать поместья, что они могли подлежать аресту только в таких случаях, как и шляхтич, что города управлялись сами собою, и что наконец мещане представляли свободное сословие, пользовавшееся такими же преимуществами, как и шляхта. Собрав все эти акты в одну книгу, Декерт оповестил города, что если они хотят узнать свои права и выйти из того унижения, в котором они находятся, то пусть они к известному сроку пришлют в Варшаву своих делегатов; собрание городских представителей Декерт назвал коалициею городов, а не конфедерациею, так как с последним словом соединялось в Польше понятие о своеволии и насилии.

На зов Декерта собрались в Варшаву город-

ские депутаты; казалось, шляхта забыла совсем, что в Речи Посполитой есть, кроме её, и другие ещё люди, но Декерт и созванные им представители городов напомнили дворянству, что не оно одно составляет целый народ, и что все граждане должны быть равны пред лицом отечества. Декерт, в сопровождении депутатов, одетых в чёрное платье, отправился к королю и почтительно предъявил ему те права, которыми при его предшественниках пользовались в Речи Посполитой городские сословия. Король милостиво принял городских депутатов, признал представление их основательным; но в то же время объявил им, что он сам по себе ничего для них сделать не может, и что они должны обратиться к сейму.

Исполняя волю короля, представители городов вошли попарно в залу сеймовых заседаний. Скромно объявил Декерт членам сейма причину своего появления и прибытия лиц, его сопровождавших; он выразил их желания и изложил пред сеймом те факты, на которых городские сословия основывали свои права; в это время, по распоряжению Декерта, членам сейма роздана была составленная им за-

писка, объяснявшая, что города не требуют для себя никаких новых преимуществ, но только просят о восстановлении тех прав, которые им принадлежали издревле.

Сейм, как казалось, благосклонно принял представление городских сословий и обещался заняться их делом. Между тем чёрное одеяние городских депутатов стали объяснять двояко: одни принимали это как знак покорности, другие – как предвестие той печали, которою угрожают Речи Посполитой восстающие горожане. Вообще же, видя стремление их в уравнению своих прав с правами шляхты, члены сейма, стараясь остановить это стремление, положили дать дворянство почётнейшим мещанам, и 300 из них получили это достоинство. После этого тщетны были дальнейшие попытки Декерта возвратить своим сословникам их древние права. Измученный неравною борьбою и неизбежными с нею неудачами, Декерт умер с горя, оставив сейму письмо, исполненное горьких и вместе с тем справедливых укоризн. Казалось, со смертью его, шляхта не могла опасаться городских сословий, потому что они остались

без руководителя; казалось, король лишился всякой поддержки против шляхты; он старался поднять городские сословия, чтоб ими подавить своеволие шляхты, не допуская наследственности польского престола; но дело вышло иначе: 3-е мая было уже недалеко.

Предметы, подлежащие обсуждению сейма, не могли быть решены в скором времени, и поэтому 18-го ноября 1790 года было объявлено о продолжении сейма и в 1791 году. По обычаю, издавна существовавшему в Польше, универсалы о сеймиках, предшествовавших сейму, должны были выходить за четыре недели до начатия самых сеймиков, которые обыкновенно открывались 8-го сентября, в день Рождества Богородицы. В настоящее же время сейм объявил, что, видя способности находящихся на нём послов, он намерен продолжать с ними и дальнейшие свои заседания. Обстоятельство это весьма неблагоприятно подействовало на умы поляков. Обыкновенно сеймовые послы спешили как можно скорее оканчивать дела на сейме, потому что пребывание послов в Варшаве не только могло расстраивать их домашние дела, но и тре-

бывало часто особых значительных издержек. Поэтому в прежнее время обыкновенно послы сетовали на продолжение сейма, указывая на это обстоятельство, как на причину своего разорения. На великом же сейме случилось противное: сами послы желали оставаться представителями своего края на дальнейшее время.

Пред рассуждением о продолжении сейма началась речь об избрании будущего короля. Сам Понятовский заговорил об этом; но решение вопроса, избрать ли только ему преемника, или сделать вместе с этим польский престол наследственным в том роде, на который падёт выбор, король предоставил государственным чинам. Надобно заметить, что ещё до 1791 года являлась в речах и в печати мысль о том, какое правление лучше для Польши: избирательное или наследственное? Об этом несколько раз пытался заговорить при начале сейма и Понятовский; но обыкновенно дело это как-то заминали и откладывали на будущее время. Теперь вопрос об этом вдруг получил быстрое движение. После долгих рассуждений и упорных споров решено

было большинством голосов сделать престол польский наследственным. Но такой способ решения этого дела был недостаточен, возник вопрос: утвердить ли это постановление тотчас на сейме, или послать его на предварительное рассмотрение сеймиков. Большинство держалось последнего мнения, и мнение это взяло верх. Сеймовым маршалам поручено было, чтоб при универсалах, собиравших шляхту на сеймики, была приложена повестка с приглашением шляхты давать своё решение и по делу о наследственности престола, с тем, что если они согласятся на это, то обратили бы свой выбор на саксонский дом, так как память о царствовании его в Польше, в продолжение слишком полувека, живёт ещё в памяти народной.

Таким образом Понятовский достиг только сущности дела, но не исполнения своих давнишних замыслов. Не ожидая однако решения, которое состоится на сеймиках, он отважился идти вперёд и, конечно, мог надеяться, что, действуя в пользу городского населения и подавляя свежую его силою упадавшую крепость шляхты, он достигнет своей цели.

Наступило 3-е мая 1791 года. Накануне этого дня король оповестил все магистраты и цехи Варшавы, чтобы все их старшины собрались в сенаторской избе, а прочие горожане были бы вооружены, кто чем может, кто пистолетом, кто ружьём, кто топором, кто саблей, и чтобы в то время, когда начнётся заседание, они заняли все выходы из сеймовой избы и двор замка, и были бы готовы исполнять всё то что им прикажут старшины. В день 3-го мая король окружил себя преданными ему офицерами и расположил отряды войска по разным частям королевского замка. Когда собрались члены сейма, король явился среди их и объявил им, что он получил донесения польских посланников из Берлина, Вены, Парижа и Гааги о том, что Польше угрожает новый раздел. Тогда бывшие на стороне короля послы, а между ними первый краковский посол Линовский, обратились к королю и в лестных выражениях высказали, что только мудрость его одного может спасти отечество от угрожающей опасности. В ответ на речи своих приверженцев, король объявил, что он не видит других средств для предот-

вращения опасности, как только предоставить городам вольность, чтобы тем самым соединить городские сословия со шляхтою, и немедленно объявить польский престол наследственным.

Сообщив сейму своё мнение, король приказал прочитать заранее приготовленный проект по этим двум статьям. Секретарь стал читать, но вдруг не только в зале заседаний, но и в коридоре и на дворе раздались громкие восклицания: "Виват вольность городов! Виват наследственность престола!" Противники короля стали возражать, что решение этих постановлений надлежит предоставить всем государственным чинам, что половины послов нет на сейме, что нельзя окончить этих дел так поспешно; некоторые объявили, что самое согласие членов сейма должно считать вынужденным угрозой, потому что толпы горожан созваны королём не для спасения государства, но для гибели шляхты. На эти возражения сеймовый маршал Малаховский отвечал, что предметы эти столь важны, что нельзя терять времени, откладывая их решение.

Напрасно калишский посол Сухоржевский растянулся крестом на полу залы, бился, рвал волосы, колотил ногами и кулаками по полу крича во всё горло: "стойте, подождите, разрубите меня на части, а потом уже гибните!", вопли его были заглушены криками: "Виват!" Королю поспешили подать Евангелие, и он пред Турским, епископом краковским, дал присягу защищать уложение 3-го мая до последней капли крови. После этого король пригласил всех наличных членов сейма в приходский костёл для подобной же присяги и таким образом дело о вольности городов и о наследии польского престола, длившееся два года, было кончено в несколько минут.

Хозяин и гость

Старинная Польша отличалась гостеприимством. «Гость в дом, Бог в дом» – говорит одна польская пословица. Принять в своём доме гостя и отпустить его от себя вполне довольным, взяв с него обещание приехать снова было для поляков прежнего покроя одним из высших наслаждений.

Чтобы как можно яснее выразить это чувство, сродное впрочем всему славянскому племени, один богатый шляхтич приказал на своём доме сделать следующую надпись: "для приятелей, земляков и соотчичей и во славу Бога построил я этот замок". Недостаточно было, однако, только накормит заезжего гостя, нужно было уметь напоить его. Не будем удивляться, что страсть пить была необыкновенно развита в Польше; это было, впрочем, не пьянство, а удалые попойки в приятельском кругу. Быть самому крепкоголовым и spoить своих гостей считалось в прежнее время у поляков одним из главных условий радужного приёма. Люди, умевшие лихо пить, приобретали себе почётную известность. В

этом искусстве были своего рода конкурсы и премии. Так, в начале царствования Августа II, воевода равский Валицкий велел сделать огромный серебряный кубок, осыпал его драгоценными камнями и объявил по всей Польше и по всей Литве, что тот, кто выпьет разом этот кубок, вмещающий в себе гарнец, тот получит его в подарок, но что тот, кто возьмётся за это и этого не исполнит, вместо кубка получит 50 батогов. Множество гостей-конкурентов приезжали в воеводе; иные посмотрят на кубок, пошепчутся между собой, поедят, попьют у воеводы, да и с Богом домой: нечего напрасно и искушать себя. Но были и такие, которые уезжали от воеводы, увозя с собою, вместо кубка, память о полусотне батогов и сознание своей немощи. Были наконец и такие, которые расставались с гостеприимным хозяином, не по получении от него 50-ти, но целой сотни батогов, потому что, жадно посматривая на дорогой кубок, они принимались за него два раза, и каждый раз исполнение обоюдных условий оканчивались батогами. Чтобы не сделать расправу позорною в глазах братии-шляхты, воевода при-

казал вырезать на кубке надпись *Volenti non fit injuria* в том смысле, что в получении пятидесяти батов, по своему собственному согласию, нет ничего предосудительного для шляхтича. Прошёл год в таких напрасных попытках. На другой год явился из Литвы один удалец и успел увезти кубов с собою.

Позднее Валицкого, Адам Малаховский, этот образец благородства и рыцарства, поставил себе в обязанность упаивать своих гостей, но он упайвал их до того, что все наконец стали объезжать мимо радушного хозяина. Несколько гостей были жертвою его дружеского приёма и улеглись на кладбище в имени Малаховского. Если нужно было кому-нибудь непременно видеть Малаховского, то они предварительно вступали с ним в переговоры о количестве, которое должно быть выпито в его доме, и брали от него особые в этом случае подписки. Малаховский был чистен, и следовательно на него можно было положиться, но только трудно было добыть от него такое обязательство. Притом слуги, которые посылались к Малаховскому для подобных переговоров, были опаиваемы им в тече-

ние нескольких дней, и поэтому паны, желавшие видеть Малаховского, должны были жить в его соседстве иногда очень долго, поджидая возвращение своих загулявших посланцев.

На больших пирах и на приятельских сходках дело обыкновенно оканчивалось тем, что сперва гостей, одного за другим, а потом и самого хозяина выносили из-за стола в беспмятстве и укладывали на постели, другие предупреждали такие выносы тем, что сами спускались под стол и там оставались покуда не приходили в себя.

Такая страсть в выпивке ещё в начале XVIII века существовала и у нас; стоит только заглянуть в дневник гольштинского камер-юнкера Берхгольца, чтоб видеть, как славно пили при дворе Петра I, как он заставлял пить и послов, и придворных дам, а для того, чтобы никто не мог уклоняться от этого, ставил в дверям военный караул.

У поляков угощение и попойка, кроме значения их как проявления гостеприимства, имели ещё политическую важность. Магнаты поддерживали своё влияние среди мелкой

шляхты, кормя её и поя на свой счёт. Так известный Карл Радзивилл, имевший прозвание "Panie Kochanku", приезжая на сеймик в Новогрудок, обедал два раза, сперва ел с мелкою шляхтою рубцы (фляки) и крупничек, а потом обедал во второй раз с значительными шляхтичами. Для таких угощений убивали на счёт Радзивилла ежедневно двух волов.

Конечно, это было злоупотребление гостеприимства людьми сильными, но задушевное польское радушие встречалось в среднем круге, у не слишком важных шляхтичей. Туда собирались толпы гостей, обыкновенно к именинам хозяина и хозяйки.

В первой половине прошлого столетия самые богатые поляки жили очень просто. Первые роскошные замки, в итальянском вкусе, стали являться у подольских и волынских магнатов, вследствие открытия русским оружием торговли на берегах Чёрного моря; туда из своих поместий стали отправлять хлеб и пшеницу польские паны и оттуда стали получать большие деньги. В прежнее же время было не так. Вместо английских садов, которыми зажиточные паны стали окружать свои

жилица, стояло обыкновенно перед помещицким домом несколько лип; иногда перед домом было озеро или пруд, и по берегам их были посажены гряды табаку, капусты, свекловицы и иных овощей. Между домом и липовыми аллеями росли махровые розы, сирень и маргаритки. К одной из сторон дома, противоположной главному фасаду, примыкал обширный двор, и часть его была засеяна маком и анисом. Забор делали из высокого дубового частокола; за внешней стороной забора был широкий выгон, который большею частью замыкался полукругом хат. На дворе был панский дом, иногда, смотря по состоянию хозяина, и на каменном фундаменте; подле дома была кухня и особые избы для гостей, нарочно выстроенные заботливым хозяином. Напротив кухни устраивался амбар; в нём хранились водка, солонина, ветчина и прочее. Годовые запасы амбара истреблялись иной раз совершенно в несколько дней приехавшими гостями, которым ни в чём не было отказа.

У ворот устраивались голубятня и коптильня.

Но прежде, чем нам удастся побывать в палатах магната, посмотрим жилище, довольно зажиточного шляхтича. Дом его, если только он был довольно велик, слыл в околотке под громким именем замка. Над крыльцом висел герб владельца. Крыша дома была высока и покати́ста; под неё обыкновенно ссыпалась мука.

С крыльца гости входили в просторные сени, отопляемые зимой; там, если не было в доме гостей, сидела прислуга, занимаясь весьма часто приготовлением неводов. Из сеней гости входили прямо в гостиную; над дверями, ведшими в эту комнату, висел образ или Борунской, или Ченстоховской, или Остробрамской Божией Матери. В этом лучшем покое всего дома мебель состояла из двух диванов, дюжины стульев, обитых простой холстиной, окрашенной в клеточки, из двух столиков и одного комода, окрашенных чёрною краской. На окнах были кисейные занавески, над камином было вделано зеркало, а на стенах висели изображения святых, портреты королей, особенно Августа III, весьма разошедшиеся по всей Польше, и фамиль-

ные портреты, писанные неприхотливою кистью местного художника, все на одинаковый образец, как бы для подтверждения фамильного единства их оригиналов.

Из гостиной одна дверь вела в спальню, назначенную для самых почётных гостей. Там стояли две широкие лавки с сенниками, закрытыми коврами домашней работы, два дубовых стола, ничем не покрытые; на одном из них стояла туалетка с шашешницею, на другом – деревянное распятие; в этой комнате было ещё шесть стульев, а на стене висел образ. Один из двух входов в эту комнату был обыкновенно заперт и отпирался только перед теми гостями, которым хозяин дома оказывал особенную честь, помещая их на ночлег в этой, а не в другой комнате. За перегородкою этой комнаты стояла кровать самого хозяина под шерстяным или ситцевым пологом; над нею обыкновенно висел образ, переходивший посредством благословений, от одного поколения к другому в роде хозяина. Под образом была прилеплена свеча, называемая у поляков громница, освящаемая в праздник Сретения Господня и даваемая в руки умира-

ющим; под образом же висела в кувшинчике святая вода с кропилом, несколько верб и венков, сделанных для католического праздника "Божьего Тела". У хозяйской постели стоял большой стол, покрытой иногда сукном, иногда скатертью; на этом столе было поставлено распятие, с которым во время грозы бегал мальчик кругом дома, спасая его от ударов молнии.

Сени отделяли столовую от гостиной. В столовой находился стол, за которым могло поместиться сорок человек; кругом стола были лавки, обитые зелёным сукном. В столовой были часы с кукушкой и шкаф для буфета.

Вот все главные комнаты хозяина; в особой стороне дома находились спальни для его жены и детей, не отличавшиеся своим убранством и мебелью от прочих покоев.

Гости, приезжавшие к пану, останавливались, смотря по личной своей важности, или в доме самого хозяина, или в доме его эконома, или в избах, нарочно устроенных для гостей; в случае же большого прилива гостей, молодёжь размещалась по крестьянским из-

бам. В гости ездили не только на несколько дней, но и на несколько недель, с целыми семьями. Покуда гости оставались у пригласившего их, хозяин каждый день обходил или объезжал своих гостей, если они останавливались у эконома или в деревне; он это делал для того, чтобы пожелать им доброго утра. Хозяин большею частью будил гостей, потому что по старопольским обычаям не годилось, чтоб гости вставали раньше хозяина; обязанность хозяина была как можно более быть внимательным и предупредительным в своим гостям.

В то же время хозяйка навещала гостей женского пола, разослав им перед этим кофе с обильным количеством белого хлеба и со сливками, ею самую вскипячёнными.

Посещение гостей хозяином и хозяйкою происходило очень рано, часов в 6 или 7; около полудня гости собирались в хозяйский дом. Хозяин встречал каждого гостя в сенях и провожал к жене. Почёт от хозяина всем гостям был одинаков; но зато уже сами гости старались выразить или своё старшинство, или свою малость перед хозяином. Поэтому,

когда последний всем своим гостям без различия только кланялся, гости, соображаясь с своим собственным значением, целовали хозяина или в плечо, или в колено. Входя в гостиную, все мужчины подходили к ручке сперва к хозяйке дома, потом к её дочерям, а потом и ко всем дамам.

Когда все гости собирались, то слуга приносил водку и закуску; хозяин снимал саблю и говорил: "господа, прошу быть гостями!" Вслед за хозяином все гости снимали сабли и ставили их по углам; но если в это время являлся сенатор, или другой какой-нибудь знатный сановник, то все снова надевали свои сабли и выходили вместе с хозяином навстречу ясновельможному гостю. Особенно-важных гостей хозяин дома, со всеми своими гостями, встречал на границах своих владений; такому гостю все встречавшие кричали: "виват!", называя его красою своего околотка. Все сходили с коней, даже в самый глубокий снег; то же самое делала и встречаемая знатная особа, несмотря на просьбы встречающих, чтоб ясновельможный не беспокоился и не вылезал из саней. Такие встречи продол-

жались иногда несколько часов, потому что знатный гость обходил всех встретивших его шляхтичей и целовался с каждым, а потом уж садился не в сани, а на коня. После того высшей степенью вежливости было опередить такого гостя и встретить его всюю ватагой у крыльца хозяйского дома.

По прибытии знатного гостя хозяин уже не снимал сабли, а ожидал, покуда это сделает почётный посетитель, и только тогда предлагал прочим гостям поставить по углам свои сабли; но чуть только старший гость брался за саблю, как все кидались по углам, чтоб надеть свои сабли.

По прибытии всех гостей и по принесении водки, хозяин наливал первую рюмку и сам выпивал её (обычай этот и донныне сохраняется в польских домах) и потом рюмку вместе с бутылкою передавал самому почётному гостю, этот следующему и так далее. Последний из гостей, пивший водку, наливал рюмку слуге, который, опорожнив её тут же, уносил водку. Тогда все принимались за копчёное. Но если среди гостей был ксёндз, то питье водки начиналось с него, хотя бы в числе гостей и

был сенатор. После закуски, поджидая обеда, садились играть в карты; обыкновенно играли в марьяж по золотому.

Не игравшие мужчины толковали о сеймах, о послах, женщины толковали о хозяйстве и рукоделиях; сплетничали в ту пору довольно редко.

Около второго часу входил человек с салфеткою на плече и докладывал тихо хозяину, что стол готов, а хозяин, обращаясь в своей жене, громко говорил ей: "проси такого-то в столу!" Разумеется, избирался для этого самый почётный гость. Тогда мужчины брали дам под руку и шли в столовую. Все садились за стол, кроме хозяина, который переходил от гостя в гостю, предупреждая желание каждого.

Во время обеда старые слуги имели право вмешиваться в разговоры хозяина и гостей, особенно если речь шла об умерших панах. После первого кушанья, начиналось угощение вином и мёдом из малого кругового бокала. Обед был продолжителен; в числе прочих блюд подавали: борщ, рассол, говядину с хреном, рубцы с имбирём, уток с капорцами, ин-

деек с миндальной подливкой, каплунов и теревов со свёклою, и разную жареную дичь. Эти блюда перемешивались щуками, приготовленными под шафраном, карпами, поджаренными в меду, ершами и селявой (род ряпушки), подправленной гвоздикой и мускатом. У больших панов, кроме этого, подавали медвежьи лапы с вишнёвым соусом, бобровые хвосты с икрой, лосиные ноздри с грибами, печёных ежей, серн, поджаренных с фишашками, и кабаньи головы.

У магнатов только для важных гостей был во время обеда токай, для простой же шляхты и молодёжи подпивок, редко мёд, на том основании, что простые и молодые желудки не требуют поддержки. После обеда хозяин приглашал гостей помолиться Богу. Чубатые головы пожилых гостей благоговейно склонялись на широкие воловьи груди, и старое поколение набожно шептало молитву, но молодёжь около того времени уже начинала шаркать ногами, а некоторые из среды её, жалея недопитого, спешила опорожнить стоявшие перед ними кубки и рюмки. Поевши хорошенько, все распускали пояса.

После обеда молодые паны и паничи, а также панны и паненки пускались в танцы. У старинных поляков, до введения вальсов, экосезов и т. д., были дзигун, гайдук, цыганка, подольянка и проч., заменённые потом мазуркой, краковяком и обертасом. Но пока молодёжь плясала, пожимая друг другу ручки, паны тоже не теряли времени, у них начиналась настоящая польская попойка. Подгулявши, они принимались петь хором известную польскую песню: "Kociubrucze" и когда доходили до слов: kurdesz kurdesz [12], то вскрикивали разом kochaj ty się, т. е. обнимемся, и тут-то начинались и объятия, и поцелуи, и усиленная выпивка.

После некоторого времени, кубки и стаканы казались уже маловаты, а к вечеру брались за так называемые кии, огромные бокалы, вышиною чуть ли не в аршин. Эти кии нужно было выпивать разом, кто же не мог этого сделать, тех обрызгивали вином и лили им воду за воротник. После таких попоек, если у хозяина и у гостей оставались ещё силы, все пытались стать на ноги и начинали читать молитвы, а для облегчения от послед-

ствий сильной выпивки каждый съедал огромную миску кислой капусты.

Если гостей было слишком много, так что не все могли поместиться в доме, а время было тёплое, то угощение происходило на открытом воздухе. Это всего чаще случалось при сборах шляхты для конфедераций. В таких случаях шляхтичи размещались у хозяина, смотря по своему значению: одни оставались на дворе, другие сидели на крыльце, а третьи были приглашаемы в дом. Впрочем хозяин выражал особенную заботливость и о гостях низшего разряда, прохаживался между ними, обнимал, целовал их, дружески разговаривал со всеми, некоторым сам подносил и кушанье, и вино. Но гости этого разряда являлись в хозяину с своими ложками, вилками и ножами, которые они имели при себе за пазухой. Пили же они из серебряных хозяйских кубков.

Расходы на угощение были различны; угощение бедной шляхты стоило весьма недорого, но приём иного гостя обходился нередко в 30.000 злотых; разумеется, что такого рода приёмы мог давать только магнат магнату

или самому королю.

Часто случалось, что при съездах гостей происходило сватовство; один из гостей просил руки хозяйской дочери для своего сына, или наоборот, и тогда попойка ещё более увеличивалась. Гости, поздравляя невесту с помолвкой, снимали узенький башмачок с её ножки и пили за здоровье наречённой.

Молодёжь оканчивала своё веселье танцем, известным под названием драбанта и занесённым в Польшу шведами; это было нечто вроде нынешнего лансье.

Если пир происходил накануне заговенья, и если в числе гостей был ксёндз, то он тут же начинал свою проповедь, и гости, следуя его поучениям, утихали и начинали мало-помалу приходить в себя, а поутру все отправлялись в костёл, и в следующие дни затем не было видно на столе ни вина и ни одного скромного блюда, хотя бы гости и оставались ещё некоторое время.

Северские послы

Княжество Северское было в Речи Посполитой удельным владением князя-епископа краковского, а потому, когда на епископскую кафедру в Кракове сел Пётр Гембицкий, то северская шляхта определила отправить к новому владыке двух послов, которые приветствовали бы от имени её князя-епископа и представили ему о некоторых потребностях его княжества. Выбор послов сопровождался шумным съездом местной шляхты. Дружеская весёлая пирушка была необходимым условием подобных съездов тогдашнего времени.

На пирушке северской шляхты, после многих круговых обходов огромной стопы с крепким прадедовским мёдом, каждый из присутствовавших шляхтичей начал давать избранным послам свои собственные инструкции, кто как мог, и кто как сумел. Широки и длинны были эти инструкции, а между тем круговая стопа по прежнему продолжала обходить как избирателей, так и избранных. Весело, по старинному обычаю, пировали северские

шляхтичи, а между тем мало-помалу одни из них, вследствие забористого мёда, попадали как отравленные мухи, а другие кое-как доплелись домой и улеглись спать.

Несмотря однако на пирушку, длившуюся далеко за полночь, послы встрепенулись чем свет, и севши на коней отправились в князю-епископу по краковской дороге.

Долго ехали они то рядом, то обгоняя один другого, по произволу своих коней, так как седоки едва держали в руках поводья, и кони их шли как хотели. После бессонной ночи и после лихой выпивки, их одолевала ещё сладкая утренняя дремота. Но вот всё выше и выше стало подниматься майское солнце, и всё теплее и теплее начало оно пригревать путников. Послы мало-помалу стали разгуливаться и позёвывать, но в это время показалась небольшая корчма. При виде её ободрился сперва пан Вацлав, а потом и товарищ его пан Михал. Оба они, приостановивши своих коней, вопросительно посмотрели друг на друга.

– День добрый! – сказал, позёывая пан Вацлав.

– День добрый! – отвечал пан Михал, тоже позёвывая.

– Ведь мы, кажется, едем в Краков послами к князю-епископу?.. – спросил первый.

– А разве ты не помнишь данных нам поручений?.. – перебил хитроватым голосом его спутник.

– Ведь о них-то я только что хотел спросить тебя, – отозвался пан Вацлав.

– У меня решительно всё вышло из памяти после того угощения, какое нам задали, – проговорил пан Михал.

– И у меня мёд отбил всю память, – заметил товарищ пана Михала.

– А ведь а полагался на тебя...

– А я так на тебя...

– Хороши же мы! Нечего сказать!.. – крикнули оба шляхтича в один голос и опять вопросительно посмотрели друг на друга.

Несколько минут продолжалось молчание. Только конский топот раздавался по дороге.

– Что ж нам делать? – спросил наконец пан Вацлав у своего товарища, придерживая коня и в недоумении пожимая плечами.

– Вернуться назад, – заметил довольно рав-

нодушно пан Михал.

– Стыдно!..

– Так поедем вперёд; что будет, то будет...

– Пусть будет по твоему, – отвечал пан Вацлав, – видишь ли недалеке перед нами стоит корчма: не закусить ли там? Ведь известно, что во время еды мысли делаются свежее и спокойнее, мы станем припоминать поне-многу обо всём что с нами было, и таким образом по нитке дойдём кое-как и до клубка...

– Совет твой сделан здесь кстати, – заметил пан Михал, – он кстати, во-первых, потому что желудок просит перехватить чего-нибудь, а во-вторых, нам непременно должно подумать о том, зачем мы едем послами от нашей братии-шляхты к его милости князю-епископу.

Пришпорив разом своих коней, которые прежде шли шагом, как будто желая дать се-докам возможность подремать на рассвете, оба шляхтича молодецки подскакали к корчме. У ворот её стоял старый еврей Азик, в шёлковом потёртом жупане; он поглаживал свою бороду и подёргивал свои пейсики в ожидании проезжих панов. Вежливо встре-

тил он своих гостей, объявляя им, ещё при входе их на крыльцо, что у него не только есть овёс, сено, молоко, рыба и яйца, но что у него найдётся и такое отличное вино, какого нельзя достать даже и в Кракове.

– А вот, пан арендатор, мы это сейчас увидим!.. – крикнули Вацлав и Михал.

Спрыгнувши проворно с коней, они вошли в корчму. Покуда гости расправляли ноги и осматривались кругом, Азик успел сбегать в кладовую и вскоре явился к своим вельможным гостям, неся им на пробу несколько фляжек венгерского.

Проезжие уселись за столом и в ожидании закуски, опёршись на стол локтями, крепко призадумались о цели своего посольства, стараясь припомнить данные им на этот случай инструкции. Как однако они ни силились, всё было напрасно, а между тем поставленное Азиком на стол венгерское манило их в себе своим золотистым цветом.

– Ну что, пан Михал, припомнил? – спросил Вацлав.

– А ты?

– А вот закусим, так быть может и вспом-

ним.

Прятели дружно принялись за поставленную перед ними закуску. Закуска поубавилась скоро.

– Ну что теперь, ты вспомнил? – спросил Михал.

– Нет ещё.

– И я ещё нет.

– Попробуем пополоскать горло, – сказал Вацлав – так, быть может, память после этого сделается свежее.

С этими словами оба шляхтича принялись за венгерское, которое, по своему превосходному качеству, упрочило в их мнении славу Азика на веки вечные.

Послы однако призадумались крепче прежнего, а между тем перед ними заметно опорожнилась большая миса квашенной капусты, и быстро исчезло всё венгерское. Несмотря однако ни на закуску, ни на выпивку, шляхтичи не припомнили данных им поручений; мало этого – оказалось даже, что после часовой езды и часового питья в корчме Азика, они не могли пошевелить ни рукой, ни ногой, ни языком, почему они растяну-

лись тут же около стола, на скамейке, бормоча друг другу, что сон и отдых необходимы после езды верхом и в особенности после хорошей закуски и отличного венгерского. Выспавшись порядком, они вскочили со всех ног и вопросительно посмотрели друг на друга.

– Ну что ж теперь, припомнил? – спросил Вацлав.

– Снилось что-то, а теперь забыл опять всё!.. А ты?..

– И со мной было тоже самое: припоминал что-то во сне, а теперь хоть по лбухвати, ровно ничего не помню, знаю только то, что мне редко приходилось пить такое славное вино, каким попочивал нас Азик.

– А знаешь, приятель, что нам нужно сделать для того, чтоб вспомнить наши поручения? – сказал Михал – нам нужно не торопиться. Ведь когда женибудь мы вспомним всё то, что нам поручили. Переночуем-ка лучше здесь. Неужели же мы и на завтра ничего не вспомним... Хоть бы что-нибудь вспомнить, а там по нитке доберёмся до клубка, – повторил пан Михал.

– А вот я помолюсь хорошенько св. Анто-

нию Падуанскому. Молитва его помогала мне всегда находить то, что мне случилось терять, – заметил Вацлав.

На такие убедительные доводы очень легко сдались оба приятеля, и они решились выспаться хорошенько где-нибудь в сарае – в холодке, на душистом сене. Шляхтичи объявили Азику о своём намерении переночевать в его корчме и спросили обедать. Услужливый корчмарь угостил их за обедом рыбой, еврейской лапшой, а за ужином опять подал им рыбу с горячительными приправами и яичницу, с прибавкой отличного венгерского как за обедом, так и за ужином.

После ужина приятели весело поболтали между собой, и, запивая свою беседу венгерским, дошли уже наконец до того, что уже не узнавали друг друга. Они не отправились спать в холодок, как думали прежде, но в той же комнате улеглись на сене и, как впоследствии рассказывал Азик, храпели так богатырски, что от храпу их дрожали стёкла.

– Уй!.. Я боялся, что стёкла выскочат из рам, – добавлял Азик, передавая проезжим о ночлеге шляхтичей и в изумлении покачивая

головой и поправляя на ней свою засаленную ермолку.

На рассвете оба шляхтича вскочили со всех ног и вопросительно посмотрели друг на друга.

– Ну что, ты вспомнил? – спросил пан Михал.

– Нет.

– А ты?

– И я тоже.

– Видно, нечистый обморочил нас, – сказали в голос оба приятеля.

– Что ж делать, ведь лбом стены не прошибёшь, – сказал утешающим голосом пан Вацлав – поедем лучше дальше; дорога не то, что корчма, где сидишь взаперти, на чистом воздухе другое дело, там всё вспоминается как-то легче.

Оба приятеля беспрекословно согласились в справедливости этих слов. Рассчитавшись с Азиком и приветливо поблагодарив его за радужное угощение и за умеренность в расчёте, шляхтичи отправились далее, во имя божие. Воздух был чудный, на полях и в лесах пели птички; где жужжал жук, где трещала стреко-

за, где щёлкал кузнечик. Шляхтичи ехали молча, и каждый из них силился припомнить данные им инструкции, и только время от времени то Вацлав у Михала, то Михал у Вацлава спрашивал:

– А что вспомнил?

– Нет, – отвечал обыкновенно и тот, и другой.

И затем оба начинали припоминать позабытое.

В каждой встречной корчме послы останавливались на ночлег, закусывали, обедали, ужинали, пили и спали и потом отправлялись далее, твёрдо надеясь, что если не сон, то закуска, если не закуска, то обед, если не обед, то ужин, если не ужин, то чистый воздух помогут им припомнить цель их поездки к князю-епископу. Таким образом, после продолжительного странствования, они добрались наконец до Кракова и остановились в одной из тамошних гостиниц.

Сидя за столом, опёршись на него локтями, они крепко думали о том, что им следует говорить, явившись перед князем-епископом, и вопросительно посматривали друг на друга,

выжидая, кому из них посчастливится первому вспомнить забытые поручения.

– А ведь рано или поздно, но всё же нам нужно будет идти к его княжеской и епископской милости, – проговорил Вацлав после долгого молчания.

– Разумеется, – в глубокой задумчивости отозвался Михал.

– Ну, а что ж ты ему скажешь от имени нашей братии-шляхты? – спросил первый.

– Господь как-нибудь поможет нам. Кто знает, не вспомним ли мы на пути к его дворцу, зачем мы сюда приехали.

– И то правда.

– Что будет, то будет, – крикнули разом оба приятеля, – пойдём поскорее к князю-епископу.

И с этими словами они принялись одеваться.

Цирюльник проворно и ловко подбрил им головы и расчесал их длинные чубы. Шляхтичи надели кунтуши только что с иголки, и, прицепив сабли, отправились в княжеский дворец, думая во всю дорогу о чём они будут говорить с его княжеским преосвященством.

Недолго представителей северской шляхты заставили ждать в епископской приёмной. Осторожно вошли шляхтичи в ту комнату, где сидел князь-епископ, и робко подняв глаза они увидели перед собою ещё бодрого старика, с добрым, открытым лицом, в фиолетовой сутане и в тёмной бархатной шапочке на голове.

Почтительно поклонились шляхтичи преосвященному владыке.

Епископ, при входе их, встал с кресел, подошёл в них и подал правую руку, которую они и поцеловали.

– Здравствуйте, дорогие мои братья-северяне, – проговорил ласковым голосом князь-епископ. – Что же скажете вы мне от имени всей вашей братии – северской шляхты?..

Пан Вацлав подтолкнул исподтишка пана Михала локтем, промолвив вполголоса:

– Ну, начинай!..

Пан Михал сделал тоже, пробормотав:

– Начинай ты, ведь ты старше меня.

Но ни тот, ни другой, как говорится, ни п-р-у, ни ну.

Не без некоторого удивления посмотрел

князь-епископ на молчаливых послов, которые мялись на одном месте, откашливались, бледнели, краснели и отирали пот, выступавший крупными каплями на их лицах.

В это затруднительное время вдруг мелькнула в голове пана Вацлава ужасная мысль, что позор его и его товарища падёт на всю северскую шляхту, избравшую таких нерасторопных представителей. В отчаянии от этой мысли пан Вацлав одушевился, откашлялся и твёрдым голосом сказал:

– Ясноосвящённый князь-епископ! Жители северского княжества избрали нас для того, чтобы мы сложили к стопам вашей княжеской и епископской милости их покорнейшую просьбу. Судьбе однако угодно было, чтобы и мы, и отправлявшие нас не поняли содержания этой просьбы. Кто тут прав, кто виноват – разбирать этого мы не можем. Довольно, что нам или не умели передать поручений, или мы не умели их выслушать. Поэтому, – заключил с почтительным поклоном пан Вацлав, – всенижайше просим вашу княжескую и епископскую милость благосклонно принять высокое к вам уважение всей се-

верской шляхты; что же касается собственно нас, то мы вперёд такими послами не будем...

В продолжение этой речи пан Михал то раскланивался с князем-епископом, то поддакивал своему товарищу, то мурлыкал что-то себе под нос.

Добродушно улыбнулся учёный князь-епископ, выслушав речь пана Вацлава и потрепав обоих послов по плечу, сказал им:

– Передайте от меня братии моей, шляхте северской, что я сделаю для них всё что могу. Если же вам что-нибудь понадобится, то не издерживайтесь напрасно на поездку ко мне в Краков, а лучше напишите на бумаге, – добавил его преосвященство, закусывая от смеха нижнюю губу.

Почтительно поцеловали шляхтичи руку снисходительного архипастыря и с радостью вышли из его дворца

– А ведь и правду говорят, что не святые горшки лепят, – сказали оба шляхтича в один голос, возвращаясь в гостиницу в отличном расположении духа.

– Только не надобно рассказывать, как было дело, а то, пожалуй, в другой раз и в послы

не выберут, – заметил пан Вацлав.

По приезде послов домой, шляхта встретила их такой же пирушкой, какой прежде напутствовала их в Краков. Заходила снова круговая стопа, и так как в старое время люди были и откровеннее, и проще, то и послы не утерпели, чтоб не рассказать своим землякам, как было дело. Все от души посмеялись, – и прослыли с тех пор пан Вацлав и пан Михал людьми хоть и с слабою памятью, но зато весьма находчивыми...

Ян Собеский под Веною

Недалеко от Варшавы, на небольшом пригорке, называемом Маримонтом, т. е. горею Марии (Mariae mons), королева Мария Казимира, жена короля Яна III Собеского, построила маленький загородный дворец. Дворец этот был окружён в ту пору густым лесом, который обхватывал кругом почти всю тогдашнюю Варшаву, и в котором водилось много диких зверей. В этом лесу любил охотиться Собеский.

Однажды, в исходе августа 1683 года, громкие звуки охотничьих рогов и лай собак дали знать королеве Марии Казимире, что в Маримонту приближается король, возвращавшийся в то время с охоты на пир, устроенный для него королевой. На этом пиру Ян III, окружённый первейшими сановниками королевства, дал слово, что он не примет мира, предложенного ему грозною в ту пору Турциею, и что он пойдёт для избавления Вены, к которой, как страшные тучи, приближались с юга турецкие полчища.

Храбрый Собеский сдержал своё слово.

11-го сентября того же года король, при заходе солнца, располагался лагерем на горе Каленберг вблизи Вены. Громадные башни церкви Св. Стефана величаво возвышались перед королём на гаснувшем небе, а с занятой Собеским горы он мог ясно видеть всю столицу римско-немецкого кесаря, которая как будто лежала у его ног. Турецкие войска были в это время расположены под Веною на протяжении с лишком полмили. Вскоре после прихода поляков в Вене поднялся сильный вихрь, с ожесточением подул он против польского лагеря, подымая в воздухе огромные клубы пыли и засыпая ею глаза польских всадников, которые от сильных порывов вихря едва могли удержаться на конях. Двадцать шесть часов сряду бушевала непогода.

Между тем для короля на опушке дубовой рощи разбили небольшой намёт и в нём разостлали на земле его походную постель. Король уселся на постели, а перед ним стали в почтительном молчании вожди польской рати.

– Не знаю я, на кого мне положиться, – сказал в раздумье Собеский, – сам я устал, и мне

непреренно нужно отдохнуть перед завтрашней работой, а между тем нынешней ночью венский комендант будет давать мне сигналы, нельзя пропускать их, но я так устал, что никак не могу наблюдать за ними сам.

– Положитесь на меня, ваше величество! – громко и торопливо сказал королевский конюший, стараясь предупредить этими словами всех находившихся в намёте, из которых, как он знал, каждый наперерыв готов был предложить королю свои услуги.

– Хорошо, – сказал ласково король и затем отдал по своему войску следующий лозунг: "Во имя Богородицы помощи нам Господи!"

После этого распоряжения король приветливым поклоном дал знак своим сподвижникам, чтоб они удалились из намёта. По выходе их, Собеский улёгся на постели и вскоре заснул. Между тем конюший сел в дверях намёта, на деревянной скамеечке, которую королевский стремянной всегда возил за Яном III, так как он, по своей тучности, не мог сесть на коня, не ставши одной ногой на скамейку. Ровно в полночь взвилась ракета над башней Св. Стефана.

– Ваше величество! – крикнул громко конюший, – первый сигнал подан.

– Это значит, – отвечал пробудившись Собеский, – что они переправились благополучно через Дунай.

Спустя несколько времени, на тёмном небе рассыпалась красными искрами другая ракета.

– Ваше величество! – крикнул так же громко конюший, – второй сигнал подан.

– Это значит, – проговорил король, – что они двинулись из укреплений.

Прошло немного времени, и снова над тихой и погружённой во мрак Венной сверкнула и лопнула ракета.

– Ваше величество! уже третий сигнал подан! – громче прежнего крикнул конюший, входя в королевский намёт.

Король быстро поднял с подушки голову, и стал набожно креститься, приговаривая:

– Да будет прославлено имя Господне! – это значит, что они подошли к нам на помощь.

Сказав это, король завёл часы с будильником, поставив стрелку на трёх часах; после этого он улёгся на постель, закрыл глаза и за-

снул богатырским сном. Конюший между тем дремал на скамейке, покачивая голову то вниз, то из стороны в сторону. Вскоре после полуночи вихрь унялся, звёзды ярко засверкали на тёмном небе, тихая и ясная ночь предвещала погодное утро.

В три часа будильник в намёте Собеского сперва зашипел, а потом принялся стучать и звенеть. Король встрепенулся на постели.

– Кто тут? – крикнул он громким голосом.

На зов короля прибежал один из шляхтичей, спавших подле королевского намёта.

– Беги поскорее к ксёндзам-капелланам, – сказал Собеский, – разбуди их и скажи, чтобы они велели составить алтари из барабанов, и чтобы сами готовились служить обедню.

Опрометью побежал шляхтич исполнять королевское предписание. Между тем проснулся и конюший; король взял от него скамеечку, положил на неё лист бумаги, и сидя на постели, принялся писать письмо к жене. Настоящее письмо короля, как и вообще все его письма к королеве Марии Казимире, начиналось следующим обычным приветствием:

"Единственная отрада моей души и моего сердца, моя прехорошенькая и моя премиленькая Маруся!"

В письме своём Собеский подробно рассказывал жене о своей счастливой переправе через Дунай, он описывал ей имперских князей, которые с своими небольшими отрядами прибыли в Вене на подмогу, и которые поступили под его главное начальство; Собеский сообщал Марии Казимире о трудах и лишениях войска во время похода, а также о той страшной непогоде, которую привелось испытать полякам перед Веной. Ужасный, двадцатishестичасовой вихрь Собеский простодушно приписывал колдовству великого визи́ря, который, по словам короля, был великий чародей. Письмо своё король окончил замечанием о том, что по всей вероятности решительный бой между поляками и турками будет не ранее, как дня через два: королевскому войску, утомлённому неблизким походом, необходим был порядочный отдых; нужно было также построить батареи и полевые укрепления; а между тем на деле Собескому пришлось биться с турками в тот же день, в

который он отправил своё письмо в Варшаву.

Окончив письмо, король вышел к войску и в виду его благоговейно отслушал обедню под открытым небом, а как только стало подниматься солнце, король и гетман приказали войскам садиться на коней. Скоро загремели трубы, литавры и барабаны, а спустя немного времени, с вершины Каленберга потянулись густыми рядами конница, пехота и артиллерия, занимая назначенные им места.

На широком пространстве расстилался перед поляками укреплённый лагерь великого визиря Кара-Мустафы и его сподручника – крымского хана. С изумлением услышал визирь о том, что на него наступают поляки; он сперва не поверил этой грозной вести и опрометью выбежал из своей ставки, стараясь убедиться своими глазами в справедливости этой вести. Легко убедился визирь, что он имеет дело с тем, кто ещё и прежде так беспощадно громил турецкие полчища, потому что утреннее солнце ярко освещало знамёна Собеского.

– О, король! – воскликнул с отчаянием визирь, – как жестоко ты поступаешь со мной!

Между тем войска Яна III становились в боевой порядок. Король был постоянно впереди их. На нём, в это славное для него утро, был надет суконный кунтуш голубого цвета, белый шёлковый жупан и литой золотой пояс, на голове был серебряный шишак с золотым одноглавым орлом. Король был верхом на коне золотисто-гнедой масти. На правой стороне королевского седла был приторочен небольшой барабан, в который время от времени ударял король, призывая к себе условленным числом ударов того или другого из польских военачальников.

За Яном III безотлучно следовали стремянной и щитоносец; последний держал в руке щит с королевским гербом, в котором на золотом поле была изображена чёрная воловья голова, пронзённая мечом. За Яном III следовал также королевский хорунжий, на древке его значка горделиво развевались соколиные перья; по этим перьям королевские войска должны были узнавать то место, где во время боя находился Собеский.

Королевич Якуб не отставал ни на шаг от своего отца; он был в серебряном шишаке, в

латах и имел у седла так называемый кончар, оружие вроде меча, заострённое с обеих сторон.

Когда всё войско окончательно стало в боевой порядок, то король приказал серадзскому воеводе Щенскому Потоцкому, чтоб он первый ударил на турок со своей гусарской хоругвью. Исполняя приказания государя, воевода выехал вперёд перед своим отрядом; по команде его гусары нагнули к земле пики, и склонив немного свои головы, покрытые блестящими шишаками, пустились, как вихрь, во весь опор против показавшейся перед ними турецкой конницы. Шумели и веяли холодом крылья из орлиных и соколиных перьев, прикреплённые, по обычаю того времени, за плечами гусаров. С пронзительным свистом прорезали воздух их длинные пики, шелестя своими разноцветными значками. Всё это сливалось в какой-то неопределённый, но грозный гул; казалось, что на врага неслась теперь стая каким-то чудовищных птиц, закованных в стальные доспехи.

Не выдержала турецкая конница дружно-го и неожиданного натиска поляков; ошелом-

лённая и расстроенная, она в беспорядке попятилась назад; турецкие кони, испуганные видом крылатых всадников, бешено металась из стороны в сторону, закусывали удила, ржали, становились на дыбы и сбрасывали с себя оробевших турок. Опомнившись однако от первого испуга и видя малочисленность поляков, турки собрались снова и с грозным гиком окружили со всех сторон отряд серадзского воеводы. Верная гибель угрожала его хоругви. В это время проворно спешила с коней панцирная хоругвь другого Потоцкого, Станислава, старосты калишского, и кинулась на выручку своих погибавших товарищей.

Завязалась жестокая сеча. Между тем на другом конце равнины засевающие за окопами янычары осыпали поляков градом пуль. Три раза ходили на штурм окопов поляки и три раза устилали к ним путь своими трупами. Наконец, только после четвёртой ожесточённой и самой продолжительной схватки, окопы достались полякам.

В это время Собеский двинул часть своих войск прямо на визирскую ставку;

с неудержимым напором рванулись вперёд поляки. Тщетно визирь, окружённый плотной толпой своих телохранителей, приказал распустить большое знамя Магомета, желая этим воодушевить свои оробевшие рати во имя Аллаха и его пророка. Но горсть храбрецов скоро пробилась до этого знамени и к ужасу Кара-Мустафы овладела им.

– Спасай меня, если можешь! – вскрикнул в отчаянии визирь, обращаясь к бывшему близ него татарскому хану.

– Я знаю короля польского, – отвечал татарин, – он спуску не даст! Мне теперь не до тебя, только бы самому мне улизнуть отсюда! Прощай!..

И с этими словами хан ударил нагайкою своего коня и поскакал во весь опор с поля битвы. Следом за ним помчался и великий визирь. Видя, что на обоих крыльях неприятель дрогнул, сам король ударил на турецкий лагерь. Тщетно отстаивали его янычары с мужеством, доходившим до отчаяния. Собеский скоро овладел турецким укреплением.

Но опасность для Вены, несмотря на успех Яна III, ещё не миновала; часть янычаров по-

шла на штурм императорской столицы, а между тем турецкие полки, обратившиеся в бегство, оставались без преследования. Собеский выходил в это время из себя, досадуя на то, что комендант Штаремберг не воспользовался удобной минутой для того, чтобы, сделав вылазку, отбить штурм и потом преследовать бежавших.

– Не будь я король, – сказал он в припадке гнева, – если завтра не велю повесить Штаремберга посреди Вены; неприятель бежит, а он с двадцатитысячным гарнизоном точно дремлет!

Впрочем, отбивать штурм янычаров от Вены было напрасно: едва только они узнали, что великий визирь и хан бежали с поля битвы, как сами последовали их примеру. Густые толпы янычаров поспешно отхлынули от стен Вены и пустились врассыпную во все стороны.

Но Собеский был не Штаремберг. Он воспользовался расстройством турок. Быстро ударив в тыл бегущих, он на большом пространстве колол, рубил и топтал неприятеля. Увидя же, что турки разбиты и рассеяны

окончательно, Собеский приказал прекратить преследование.

Солнце было уже высоко и припекало сильно. Король и войско были утомлены, и по удалении турков они расположились на отдых в захваченном ими турецком лагере. Король занял ставку визиря и тотчас же принялся писать письмо к своей дорогой Марусе. В этом письме Ян III передавал своей жене все подробности славного боя и упомянул, что турецкий лагерь был так обширен, как Львов или Варшава. Слова короля были вполне справедливы, потому что лагерь Кара-Мустафы мог вместить в себе не только трёхсоттысячное турецкое войско, но и огромный турецкий обоз, а также множество пленников, захваченных турками. Когда же в этом лагере расположилось польское войско с вспомогательными отрядами имперских князей, то в общей сложности вся армия Собеского заняла только четвертую часть турецкого лагеря. Это обстоятельство ясно показывало какой неравный бой выдержал Ян III под Веною.

Среди торжества победителей наступил вечер, а за ним и ночь. Король, несмотря на

утомление, не ложился спать, но продолжал писать письмо к своей жене. В полночь страшный грохот встревожил всё войско, все проснулись и засуетились, стали заряжать ружья, садиться на коней, а пехота выстроилась в боевой порядок. Сам король был уже верхом, когда оказалось, что тревога была напрасна. Весь ночной переполох объяснился тем, что поляки в нескольких местах подожгли огромные пороховые склады, оставленные близ лагеря убежавшими турками. От взрыва пороха дрогнула земля. Описывая этот случай своей Марусе, король замечал, что он "видел подобие страшного суда". К счастью, однако, несмотря на ужасный взрыв, никто не был ни убит, ни ранен.

Богатая добыча досталась победителям. По словам короля, ценность того, что поляки забрали в турецком лагере под Веною, нельзя даже было сравнить с тем, что они отбили у турок под Хотином, хотя и там досталось им слишком много. Кроме палаток, обоза, коней, стоимость одних сёдел, унизированных рубинами и сапфирами, оценивали на несколько тысяч тогдашних червонцев. Добыча эта пополня-

ласть множеством сабель в золотых ножнах, кинжалов в драгоценной оправе, ружей, пистолетов и дорогой сбруи. Число захваченных намётов простиралось до ста тысяч. В письме Собеского к жене, написанном, как мы сказали, в ту же самую ночь, он между прочим замечал: "не укоришь меня теперь, моя душечка, как укоряют татарские жёны своих мужей, возвращающихся с войны без поживы, говоря им: "видно, что вы не молодцы, если вернулись без добычи, потому что она достается только тем, кто бывает впереди"".

В числе трофеев была и хоругвь Магомета. Огромное это знамя, древко которого было в вышину 12 футов, имело в длину 8 футов. Оно было сделано из зелёной шёлковой материи, богато и узорчато вышитой серебром и золотом. На этой хоругви, кроме арабской надписи, было изображение двух звёзд и полумесяца, обращённого рогами вниз. Хоругвь, отбитую под Веной, король отправил в Рим с одним из польских епископов, и папа Иннокентий XI приказал повесить её на вечные времена в храме св. Петра, на память торжества христиан над неверными.

После взятия турецкого лагеря, в нём найдено было множество христианских пленников, и в особенности пленниц. Убегавшие турки, в дикой злобе, предавали смерти беззащитных невольников.

"Много оставили они живых людей в лагере, – писал в другой раз король к своей жене, – но и убили тех, кого успели, в особенности же много убитых женщин. Мы нашли также множество раненых пленников, из которых, вероятно, некоторые останутся в живых. Вчера, – продолжает король, – я видел одного ребёнка, прехорошенького мальчика лет трёх, которому негодяй турок отрезал губы и рассёк голову".

Только мужеством и решимостью польского короля была освобождена Вена от страшного погрома, а вся Австрия была избавлена от конечного разорения, потому что в ту пору всюду, где только проходили турки или крымцы, оставались одни безлюдные пустыни. Случалось, что крымцы, при своих набегах на пограничные польские области, выводили иногда оттуда в один раз более 60.000 пленных девушек! Долго бы не забыла Ав-

стрия грозивший ей турецко-татарский разгром, если бы на выручку ей не поспешил Собеский.

На другой день после битвы, т. е. 13-го сентября, король въехал в Вену. Комендант Шта-ремберг просил короля пожаловать в императорскую столицу не через главные ворота, которые были завалены во время осады, но просил его въехать в Вену каким-то тёмным и узким проходом, устроенным для вылазок и освещённым на этот раз несколькими факелами. Едва король показался в городе, как народ кинулся на встречу Собескому и бежал за ним, целуя его руки и ноги и провозглашая его своим избавителем. Вена, которая могла бы продержаться лишь несколько дней, представляла в это время ужасную картину опустошения: императорский дворец, почти до основания размётанный турецкими ядрами, лежал в печальных развалинах; стены большей части домов были прострелены и едва держались; немало было и таких зданий, от которых остались одни только груды камней.

В сопровождении ликующей толпы, заступавшей дорогу, король шагом едва мог до-

браться до церкви св. Стефана. Здесь встретил его проповедник и начал свою приветственную латинскую речь применением к королю Яну или Иоанну следующих евангельских слов: "И бысть послан от Бога человек некий, имя ему Иоанн". С подобающим благоговением выслушал Собеский обедню и благодарственное молебствие, при громе пушек и звоне колоколов, и затем, окружённый снова плотную толпою, отправился на обед к коменданту; а после обеда тотчас оставил спасённую им Вену.

С грустью увидел король, что возврат его в лагерь из Вены не сопровождался уже теми радостными кликами, которыми приветствовал народ въезд его в столицу Леопольда I. Зависть успела в несколько часов сделать своё дело – и толпе запрещено было величать Собеского освободителем Вены. В молчании, только протягивая к королю руки, жители Вены проводили Яна до городских ворот, которые были теперь уже распахнуты настежь, для его выезда; между тем как за несколько часов перед этим победитель турок должен был как будто украдкой пробираться в осво-

бождённую им столицу!

Тщеславный император Леопольд I оказал Собескому за его богатырский подвиг чёрную неблагодарность. Король, несмотря на своё добродушие, не мог сдержать справедливого негодования против надменного кесаря и в письмах к жене горько сетовал на то, как оплатила ему Австрия за польскую кровь, пролитую под стенами Вены.

Две поговорки остались у поляков в память этого славного, но неоценённого Австрией похода; первая из них насмешливо твердит людям, растерявшим своё добро в чужую пользу, что они ходят "с саблей и с босыми ногами" (z kordem a boso), намекая этими словами на то, что храбрые отряды польских гусаров и польских панцирников, потеряв на обратном походе из Вены своих лихих коней по недостатку корма, вернулись домой хоть и с саблями, но зато пешком и притом с босыми ногами. Другая поговорка употребляется для оценки труда, не приносящего самому трудящемуся никакого вознаграждения: "это стоит столько же, сколько сражаться за Вену", приговаривают в иных случаях поляки.

Замечательно, что ни одна песня, ни народная, ни шляхетская, не сохранила в Польше памяти о славной победе под Веною. Народ как будто оценил это событие прежде, чем история произнесла ему свой справедливый приговор. Между тем как будто в противоположность этому грустному забвению родной славы, у поляков, за десять лет до венского похода, явилась народная песня о побойще с турками под Хотинном, где Ян Собеский, в то время ещё только гетман коронный, разбил на голову огромное турецкое войско. Песня о хотинской победе быстро разнеслась по всей тогдашней обширной Польше, которая расстилалась от Балтийского моря до Чёрного и от Днепра до Эльбы. Песнь о хотинском победителе распевали долгое время и в богатых замках магнатов, и в уголку скромной хаты поселянина; ещё дольше пели её во всех походах и на всех стоянках польского рыцарства. Песня эта увековечила в народе память о Собеском, а между тем, несмотря на то, что победа под стенами Вены, изумившая всю Европу, была гораздо славнее победы хотинской, — никто однако не сложил в честь венского по-

боища никакой песни.

Скажем, впрочем, что между словаками и венграми сохранилась память о Собеском в народной песне. Песня эта рассказывает о том, как на гнедом коне с золотыми поводьями съезжал с вершины белой горы король Ян, готовясь на битву с турчинами, окружившими Вену...

Примечания

Дети каштеляна. Каштеляны в эту эпоху были сенаторами, и в военное время начальствовали над ополчением известного участка.

[^^^]

Звание подкомория при дворе королевско-польском соответствовало званию камергера.

[^^^]

В домах богатых польских панов дворяне, заведовавшие разными увеселениями, назывались маршалками. Уменьшительное от слова: маршал.

[^^^]

КНЯЗЬ

[^^^]

т.е. в Польше.

[^^^]

6

Чинш – поместье, отданное в оброчное содержание.

[^^^]

Пиары – орден монахов, существовавший в Польше и Литве и заботившийся в особенности об образовании юношества.

[^^^]

Старóсты первоначально были правителями областей, судьям и предводителями местной шляхты при выступлении её в поход. Впоследствии звание старóсты было почётною наградой за заслуги Речи Посполитой; Сигизмунд III начал отдавать старóстам королевские имения, с большою властью и со взносом только четвёртой части дохода с этих имений на содержание войска.

[^^^]

Мицкевич А. «Будрыс и его сыновья».

[^^^]

Всеобщее соглашение – лат.

[^^^]

Анекдот о соперничестве польского пана с знаменитым прусским королём служил не раз сюжетом и для серьёзных и для комических рассказов в польской литературе. Основой же для настоящего очерка послужил рассказ, напечатанный в издавшейся три года тому назад в Петербурге польской газете «Słowo». Со своей стороны мы изменили этот рассказ во многих частностях, стараясь приурочить его главным образом к общей цели наших очерков, а именно к ознакомлению читателей с особенностями старинного быта Польши.

[^^^]

12

хороший друг, собеседник

[^^^]